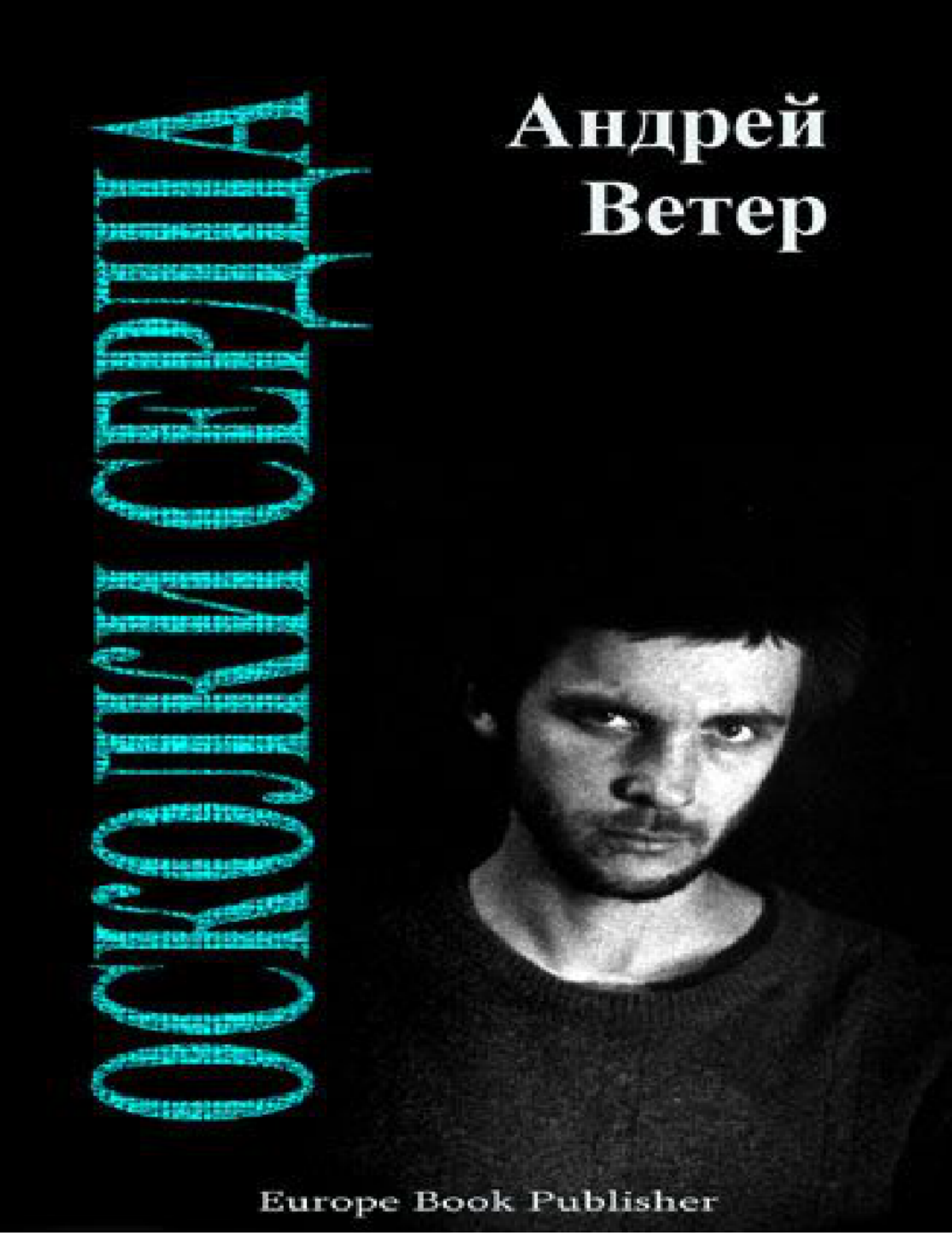
ОСКОЛКИ СУДЬБЫ

Андрей Ветер



Europe Book Publisher

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Человек жив до тех пор, пока мы помним о нём. Эта книга – замечательное свидетельство времени, запечатлевшее портреты разных людей, известных и не очень. Эпоха СССР канула в Лету, но река времени не исчезла. Поражает сила любови, с которой Андрей Ветер рассказывает о повстречавшихся на его пути людях.

- Андрей Ветер
  -
  - ЭОН ПАМЯТИ
  - ПРО ЛЮБУ УРИЦКУЮ
  - ПРО САШУ ШЕКО
  - ПРО ЛЕОНИДА ЛАТЫНИНА
  - ПРО САМВЕЛА ГАСПАРОВА
  - ПРО ЧЕ ГЕВАРУ
  - ПРО ТАНЦУЮЩЕГО ЛИСА
  - ЛИТЕРАТУРНЫЕ КОРИДОРЫ

Андрей Ветер

ОСКОЛКИ СЕРДЦА

«И четыре силы – это мудрость, благодать, чувствование, рассудительность. Благодать находится у эона света Армоцеля, который первый ангел. Вместе с этим эоном есть три другие эона: милость, истина и форма. Второй свет – это Ориэль, который был помещён у второго эона. Вместе с ним есть три других эона: мысль, чувствование и память. Третий свет – это Давейтай, который помещён у третьего эона. Вместе с ним есть три других эона: мудрость, любовь и форма. Четвёртый эон помещён у четвёртого света Элелет. Вместе с ним есть три других эона: совершенство, мир и София. Это четыре эона, которые предстали пред божественным Аутогеном. Это двенадцать эонов, которые предстали пред сыном, великим Аутогеном, Христом, по воле и дару незримого». Апокриф Иоанна.

ЭОН ПАМЯТИ

Моего отца привезли из Женевы в Москву на носилках, неподвижного, с закрытыми глазами, но совершенно спокойного внешне. Глядя на него, невозможно было сказать, что его истязала неугасимая боль в голове, что мозг был сдавлен опухолью, лишившей его возможности шевелиться. Его лицо ничуть не изменилось. Казалось, что он просто спал. Но его охватил, к сожалению, не сон.

Чекисты работали быстро, слаженно, без суеты, не привлекая внимания многочисленных пассажиров Шереметьева. Со стороны казалось, что обычные люди встречали больного человека. Никому из посторонних никогда не закралась бы мысль, что на каталке лежал профессиональный разведчик, в считанные дни превратившийся из громкоголосого и жизнелюбивого человека в молчаливую и неподвижную куклу.

Судьба…

В Женеве, когда он жаловался на всё чаще беспокоившие его головные боли, ему сказали, что он просто перенёс на ногах грипп. Никто не подозревал, что в голове гнездилась непобедимая опухоль, расползавшаяся по мозгу, как пролитые чернила по промокашке. Врач в советском представительстве уверенно заявила, что у моего отца было простое осложнение после гриппа. Обследование в женевском госпитале также ничего не показало, так что не верьте, что хвалёные европейские светила знают всё и умеют всё. Не верьте. Они ничуть не лучше наших, а то и значительно хуже. У них прекрасное техническое оснащение, но в редких случаях одного этого бывает достаточно. Никакая техника не заменит профессионального чутья и умения, которыми обязан обладать настоящий врач.

Итак, отца провезли через отдельную дверь. Рядом с каталкой стояла моя мать, интересная, подтянутая женщина с яркими губами и густо накрашенными глазами. Она почти не обращала на окружающих внимания и бесцветно поздоровалась со мной.

– Здравствуй, Андрюшенька.

Я подошёл к отцу и взял его за руку. Он слегка приоткрыл глаза и сделал губами:

– Пф-ф-ф-ф…

Страшно вспоминать этот звук, выпущенный сквозь сомкнутые губы. Этот звук не имел ничего общего с жизнерадостным человеком, которого я привык видеть. Я ничуть не испугался, увидев отца в таком состоянии. Я был уверен, что его болезнь, пусть и тяжёлая, пройдёт через самое короткое

время. Я не допускал мысли о том, что отец мог остаться в таком неподвижном состоянии навсегда. Болезни приходят, чтобы мы побеждали их.

– Пф-ф-ф-ф…

Казалось, он узнал меня, но кисть его руки не отозвалась на моё прикосновение, осталась вялой. Подошедшие доктора ткнули его несколько раз в руку иголками, проверяя рефлексы, но отец никак не отреагировал. Ему было всё равно.

– Юрий Васильевич, вы нас слышите?

Он молчал. Он не отзывался на их вопросы. Поэтому я уверен, что меня он узнал. На моё появление он отреагировал движением губ.

– Пф-ф-ф-ф…

– Юрий Васильевич, как вы?

В этом вопросе слышалась безысходность. Несуразица какая-то… Безысходности не могло быть, но я слышал её в голосах белых халатов.

Через некоторое время мы уже мчались в машине.

– Вот как, оказывается, бывает, – произнесла вдруг мама.

Она не сказала, что всё рухнуло, так как в то время никто из нас ещё не знал, что это конец. Её лицо сосредоточенно застыло.

В институте нейрохирургии имени Бурденко у отца сразу определили опухоль головного мозга в левой височной доле. На следующий день знаменитый хирург Коновалов (говорят, у него волшебные руки) приступил к операции.

***

Отматывая киноплёнку памяти к далёким дням детства, я удивляюсь себе.

Когда отец впервые сказал мне, что он работает в разведке, я не обратил на это внимания. Не то чтобы я не поверил ему – я привык ему верить, я верил, пожалуй, только ему, так как он никогда не обманывал меня – я просто не сумел осознать этого. Мне было тринадцать лет, я рос в тепличных условиях, и понятие «шпион» было для меня частью какого-то недосягаемого, если не вовсе вымышленного мира, очень героического, но не имевшего ни малейшего отношения к действительности. Он заметил мою странную реакцию и принял её, как я думаю, за недоверие. Ведь любой нормальный мальчишка непременно пришёл бы в восхищение от такой информации. Отец – разведчик! Разве это не удивительно? Разве не здорово? Разве не почётно? Но я, судя по всему, не отреагировал должным образом, и отца, видно, задело отсутствие восторга во мне. Реакция оказалась слишком вялой.

Помню, мы ехали однажды на поезде отдыхать в Крым. В купе не было посторонних, и отец показал мне своё служебное удостоверение, чтобы я убедился в его честности.

– А ты не верил мне.

Он ошибался. Верить-то я верил, но сразу же выбрасывал из головы эту информацию. Я просто не понимал, о чём шла речь, поэтому и в тот раз в моей голове не отложилось, что мой папа – офицер разведки. Ведь разведчику полагалось гонять на автомобиле с пистолетом в руке, сигать с крыши на крышу, отрываясь от погони, прятать своё лицо под наклеенными усами и бородой да и вообще вести совершенно иной, особенный, таинственный образ жизни. Я видел фильмы про *настоящих шпионов*, а папа был обыкновенным человеком. Он ни от кого не прятался, каждое утро отправлялся на работу, как и все другие папы. Обожал общество, всегда был душой любой компании. Он не отличался ничем особенным. Залысина, тяжелеющий с годами живот, отсутствие стальных мышц, привычка много выпивать…

Через два года после этого я попал в интернат КГБ и там впервые услышал слово «чекисты», употреблённое по отношению к нашим родителям. Было 20 декабря. Нас, старшую группу школьников, пригласили в класс для торжественного собрания. Пришёл чей-то отец и выступил перед нами с небольшой речью, начав её так:

– Вы, дети чекистов, должны помнить…

Он говорил без лозунгов, без ярких слов, обыденно, не рассказывал никаких приключенческих историй, но слова «дети чекистов» меня потрясли. Впервые в моей голове увязалась в одно ясное целое многолетняя история Советского Союза и жизнь моего отца (стало быть, также жизнь моей матери и моя собственная). Чекисты! Это слово вдруг сразу подвело под работу моего отца мощный фундамент. Одно слово расставило по своим местам всё, что оставалось для меня смутным раньше. Чекисты! Это революционные кожанки, маузеры в деревянных кобурах, ловля бандитов и прочее, прочее, прочее, от чего захватывало дух… Кинематограф внезапно ожил. Персонажи, рельефно смотревшие на меня с чёрно-белого экрана, обрели плоть, вес, смысл. За ними тянулся шлейф героической истории.

Печально, что я осознал всё это через призму чужих слов. Получается, что я должен был услышать это от постороннего человека, чтобы понять, что такое «разведчик», а не от близкого мне отца.

Чекисты! Как много таилось в этом слове!

Только теперь я обратил внимание на висевшую под стеклом в проходной нашего интерната бумагу с перечнем правил

посещения. В заголовке присутствовали слова «комитет государственной безопасности».

Получалось, что все окружавшие меня интернатские ребята были детьми разведчиков, детьми чекистов, детьми никому неведомых героев. А у Толика Нукина, круглолицего, вечно потного, совершенно обыкновенного, отец, оказывается, был нелегалом! То есть он жил в чужой стране под чужой фамилией вместе с женой, прикрывался чужим гражданством, говорил только на чужом языке! До меня вдруг дошло, что Толик не видел родителей уже несколько лет, получал письма и подарки от них исключительно через куратора, а когда им пришёл срок возвращаться, он неожиданно узнал, что у него появился братик, что братику уже исполнилось два годика и вообще много разного…

Дети…

Мы были самыми обыкновенными детьми: хулиганили, дрались, приворовывали… Ваня Курлаков неоднократно попадался воспитателям в пьяном виде после посещения ближайшей разливочной, устраивал потасовки и был в конце концов отчислен из интерната, а после школы загремел в тюрьму. Стасик Ленский тоже постоянно дрался, не в силах сдержать свою страсть к боксу, регулярно вышибал кому-то зубы. Олежка Малицев лазил по водосточной трубе подглядывать за девочками в бане. Внук директора нашего интерната крал, как поговаривали, всё, что подворачивалось ему под руку (Правда ли это? Одно время я водил с ним дружбу, а потом начал демонстративно сторониться его. Стыдно, но так было). Его звали Миша, он умер от рака крови через несколько лет после окончания школы. Однажды он явился ко мне во сне и сказал, что вскоре всё закончится. Я решил, что речь шла о смерти. Миша успокоил, что это не больно и что похоже на день рождения. Я не умер, но в означенный день потерял сознание, – видно, я не совсем верно понял его слова (или он так пошутил).

Дети чекистов…

Моя голова шла кругом. Для меня это был год, когда я впервые остался без родителей и попал в московскую школу, о которой не имел ни малейшего понятия. В Москве, столице СССР, царили совершенно чуждые мне нравы, дикие нравы. Я воспринял Москву как инородный мне город, родина моя казалась мне чужой страной.

Я вырос в Индии в тепличных условиях. В советской «колонии», в нашем так называемом Городке, не было драк между детьми. Если случалось кому-то из мальчишек схлестнуться, то родители быстренько надевали узду на своих буянов. В Москве же

синяки и кровоподтёки оказались, как я быстро усвоил, делом не только привычным, но и само собой разумеющимся. Дрались прямо в школе, не страшась никаких наказаний, могли схватиться даже не в скрытом от посторонних глаз грязном туалете, а непосредственно перед входом в классную комнату, нанося удары тяжёлыми жёлтыми пряжками хлёстких кожаных ремней. Когда я впервые увидел драку, где ребята лупили друг друга ремнями, сгрудившись на лестничной клетке, я остолбенел, не мог поверить, что такое может происходить в действительности.

Рассказывают, что в Приюте (так мы называли наш интернат) тоже было принято драться – «утюжить» новичков в знак «гостеприимства». Не знаю, как именно их обрабатывали, может быть, пропускали сквозь строй, может быть, заставляли новичка драться с самым сильным, обрекая на проигрыш. Мне посчастливилось не испить той чаши, и причины мне не известны. Воспитатели рассказывали моей матери, когда я уходил из интерната, что я завоевал признание ребят тем, что умел рисовать. Сейчас меня это очень удивляет: неужели умение рисовать может кому-то казаться недосягаемым искусством? Впрочем, если это так, то вполне возможно, что мои способности показались ребятам своего рода волшебством (как для дикарей). Как-то я придумал забаву: рисовал карандашом картинки, в которые помещал вырезанные из фотокарточек лица ребят. Карандашом я работал так, чтобы штрихи абсолютно точно соответствовали яркости и тону фотографии, дабы между фото и рисунком не различались границы. Это нравилось всем, от многих даже поступали заказы на тот или иной сюжет, в котором они хотели бы увидеть себя. Может, это и было то, о чём говорили воспитатели? Повторяю, что я не знаю причины, по которой меня не тронули, но как бы то ни было, меня не поколотили, как того требовали правила Приюта. Я полагаю, что в то время изменились нравы старшеклассников, поэтому новичков перестали бить. По крайней мере, за время моего нахождения в Приюте я не видел, чтобы поколотили хотя бы кого-нибудь из новоприбывших, хотя серьёзные драки при «выяснении отношений» случались.

Той же осенью я впервые увидел по телевизору «Семнадцать мгновений весны». Невозможно передать всю глубину охвативших меня переживаний. Прежде я не видел ничего подобного. Тяжесть работы, которую выполнял Штирлиц, придавила меня. Невольно я стал ощущать, что мой отец, хоть и не работавший нелегалом, выполнял столь же трудные задания, как и экранный полковник Исаев. И родители всех окружавших меня мальчишек и девчонок тоже. Глядя на актёра Вячеслава Тихонова и слушая песню

«Мгновения», я едва не плакал. Чувства переполняли меня, однако поделиться ими я не осмелился ни с кем, побоявшись, что буду зачислен в категорию «хлюпиков».

Кто бы мог подумать, что через много лет после этого я сам попаду в разведшколу и увижу собственными глазами «кухню», где готовят «шпионов»? Увижу, вдохну запах этой профессии и подам рапорт об увольнении…

***

Моего отца звали Юрий Васильевич, но для большинства друзей он был просто Юрвас.

Его отец, то есть мой родной дед, погиб на фронте. Однажды я обнаружил среди старых бумаг и фотографий аккуратно сложенное и обветшавшее на складках письмо с фронта, написанное медсестрой, адресованное моей бабке и сообщавшее о смерти моего деда. Простенькое письмо, бесхитростное, но такое важное, такое весомое.

«Здравствуйте, уважаемая Галя. Простите, что я так вас называю, я не знаю вашего полного имени. Это имя я нашла написанное на фотокарточке и решила вас так называть. Я вам хочу сообщить, что ваш муж в одной из крупных операций был ранен в живот с повреждением толстого кишечника. Хирургическая операция длилась более двух часов и закончилась благополучно, после чего больной жил четыре дня. Но, видно, болезнь сильнее всех оказалась и взяла верх себя… в пять часов… мая 1943 (уголок письма с точной датой оторван) ваш муж скончался. Я представляю, как тяжела для вас утрата. Мне тяжело писать об этом, но я считаю своим долгом сообщить вам об этом. Вместе с небольшой запиской отсылаю вам фотокарточки, найденные у него. Деньги в сумме 345 рублей я вам послала по почте. Писала медсестра Зина Самойлова. Сообщите мне, что получили вы письмо и деньги».

Есть и другое письмо от этой медсестры; конверт из обычного тетрадного листка в клетку сложен треугольничком, украшен тремя круглыми почтовыми штемпелями и квадратной печатью «ПРОСМОТРЕНО Военной Цензурой, 15».

«Здравствуйте, дорогая и уважаемая Галина Николаевна! Сегодня вместе с вашим письмом получила ещё два таких письма. Все они почти одного содержания. После каждого больного, пролежавшего в моей палате и умершего на моих руках, я сообщаю по адресу, хотя такие вести для дома не совсем приятные, но если родственники не будут получать от них письма, то будет гораздо тяжелее. Поэтому я сразу сообщаю об

полной утрате. Это не потому я пишу, что долг этим заниматься. Я пишу потому, что понимаю, в каком положении остаётся семья, и сочувствую все её трудности. На днях я получила письмо с фронта, в котором мне сообщили, что умер от тяжёлого ранения мой брат. И я в лице моего брата представляю каждого больного, попавшего на моё лечение. Я делаю самую почётную работу, помогаю людям вернуться к жизни, но когда бывают такие случаи, когда умирают люди, бывает очень тяжело смотреть на это зрелище. Я глубоко сочувствую вам, уважаемая Галина Николаевна, утрата в вашей дружной семье очень отразится на вашу жизнь, а тем более на будущность вашего сына. Пишите мне, я вам с удовольствием буду отвечать на все заданные вопросы. Спасибо за приглашение в гости. Я сама москвичка и после окончания войны, безусловно, к вам зайду и поделимся вместе мыслями. До свидания! Дорогая Галина Николаевна, привет вашему сыну Юрику и мамаше вашей. С горячим дружеским приветом Зина. 8.6.43».

Меня поразила мысль, что эта медсестра, возможно, жила какой-то удивительной жизнью, переписываясь с родственниками своих погибших подопечных. Возможно, после войны она встречалась с жёнами, сёстрами и детьми тех солдат, которые скончались на её глазах, и была для многих людей единственной связующей нитью между живыми и мёртвыми – нитью, которую может ощутить лишь тот, кто прошёл через горе таких утрат.

Среди старых писем я нашёл также свёрнутую крохотным конвертиком бумагу, в которой хранилась (и хранится до сих пор) фиалка; на бумаге карандашная надпись, сделанная рукой моей бабушки Гали: «Фиалочки, которые Васенька прислал с фронта». Ничего больше у меня от деда, а у Юрваса от отца не осталось, кроме нескольких потрескавшихся фотографий.

Впрочем, я вру. От деда Василия сохранилась также бумага, которая называется «Выпись изъ метрической книги» (за 1908 год) – большой сложенный вдвое листок, старинный шрифт, выцветшие чернила, неразборчивый крупный почерк.

Моя бабушка Галя (мать Юрваса) работала школьной учительницей. Я хорошо помню это здание старой школы из красного кирпича. Как-то раз отец провёл меня по местам своего детства, по закоулкам юности, показал школу и дом. Школа продолжает стоять, а вот дом разрушен. Когда-то тот район назывался Лихоборы.

Юрвас, несмотря на то, что мама его была учительницей, читал мало, рос на улице, тесно соприкасался со шпаной, дрался, мастерил так называемые «самопалы», с которыми наиболее суровые представители шпаны не расставались никогда. Драться

он умел, обучившись этому делу в боксёрской школе, но выяснять отношения на кулаках не любил, как сам признавался мне потом. Он говорил, что именно умение пользоваться кулаками нередко подводило его, вселяло излишнюю самоуверенность, заставляло ввязываться в потасовки, в которые ввязываться было нельзя.

Иногда, уже в дни моего отрочества, Юрвас вдруг начинал напевать какую-нибудь блатную песню.

– Откуда ты знаешь такие песни? – всякий раз удивлялся я.

– Эх, Андрюха, – улыбался он, – сколько я этих песен знал раньше! Надо тебе слова надиктовать при случае. А то ведь нынче их нигде не услышишь, канут со мной…

Но не надиктовал, как-то всё не складывалось. Да я и не спрашивал про них, ведь песни мне эти не были нужны. Думаю, что Юрвас на самом деле не вспомнил бы целиком ни одной из этих песен, это он просто чуть-чуть рисовался. Ему хотелось выглядеть в моих глазах немного не таким, какими были остальные дипломаты. Он мечтал о близкой дружбе, о дружественнсти во всём. Вопреки своей профессии, требующей холодности, он был открытым человеком и любил людей. Этим он разительно отличался от моей матери: она не любила людей и не верила никому никогда.

Я не могу не упомянуть о шпанской молодости Юрваса, ибо она наложила сильный отпечаток на его характер. Впрочем, со шпаной общалось подавляющее число ребят военного и послевоенного времени. Шпану, по сути дела, составляли все ребята. Шпана обитала всюду, в каждом дворе, в каждой подворотне. Наверное, только дети очень высокопоставленных родителей не соприкасались со шпаной. В стране была разруха, нищета, люди пытались выжить всеми доступными способами, и мальчишки не были исключением. Воровали, если подворачивался случай, и дрались, зажав в кулаке медный «пятак», чтобы удар был сильнее.

И всё же Юрвас вырвался из объятий улицы, чему немало поспособствовала его мать. В то время многие мечтали стать лётчиками, ибо профессия эта была романтической и героической, и моя бабушка Галя поначалу не противилась тому, чтобы её сын пошёл в лётную школу. Об этом периоде жизни Юрваса я почти ничего не знаю. Сохранилось свидетельство (№137), которое гласит, что мой отец «окончил курс первоначального обучения на самолёте ПО-2 и получил звание пилота, без отрыва от производства при Московском Аэроклубе, сдал государственные зачёты с оценкой по лётной практике (четыре) по теории (четыре)». Юрвас утверждал, что после аэроклуба ему стали видеться сны, в которых он простирал руки в

стороны и поднимался над землёй, как птица. Сохранилась блёклая фотография, на которой отец запечатлён в толстом комбинезоне и кожаной «лётчиской» шапке с опущенными ушами. Фотография – странная штука. Вглядываешься в неё, и кажется, что вот-вот откроется перед тобой некая тайна, скрытая за границами фотоснимка. Смотришь, смотришь, погружаешься в другое время, почти слышишь звуки, принадлежащие той эпохе, но тайна всё-таки не открывается, границы фотографии остаются неизменными.

Авиационная эпопея кончилась быстро. Его мать, ни с того ни с сего вдарившись в истерику, вынудила Юрваса оставить лётную школу.

– Ты непременно разобьёшься! Все лётчики бьются!

Он ушёл из аэроклуба и поступил в МВТУ имени Баумана.

Бабушка Галя вышла замуж за Адама Григорьевича Лосева, который нежно полюбил Юрваса. Мой отец отвечал ему взаимностью и называл папой. Я же называл его дедом, как настоящего, кровного моего деда. Когда отец впервые сказал мне, что Адик (Адам Григорьевич) ему не настоящий отец, я пропустил эту информацию мимо ушей, настолько она не имела никакого значения для меня. Я даже не обращал внимания на то, что отчество Юрваса не совпадало с именем моего деда. Для меня это было совсем не существенно.

Потом бабушка умерла. Я был маленький, и ничего по этому поводу сказать не могу. Я ничего не помню о её смерти, впрочем, как и о её жизни. Её смерти для меня просто не было. Бабка осталась для меня только в словосочетании «баба Галя».

Много позже я узнал, что она покончила жизнь самоубийством, бросившись под поезд. Причины мне не известны. Думаю, что и Юрвас не знал о них ничего толком. Иногда он говорил, что она закатывала Адаму Григорьевичу страшные истерики. Может быть, она была ревнивой? Не знаю. Но Юрвас всегда помнил о том, какой была её смерть. И помнил, что ей было примерно пятьдесят лет. Это настолько упрочилось в его памяти, что он боялся пятидесятилетнего рубежа. И ещё он предупреждал, чтобы его ни в коем случае не хоронили в могиле матери. Он был атеист, но мать-самоубийца, пусть даже давно превратившаяся в прах, пугала его. Он настаивал на том, чтобы его положили в могилу его бабки, то есть моей прабабки. Он скончался в пятьдесят лет. Случайность ли это? Или же он настолько смог внушить себе, что этот возраст был для него предельным?

Когда он попал на службу в КГБ, он нигде не упомянул о том, как оборвалась жизнь его матери. Он не без оснований полагал,

что такая информация могла бы отрицательно сказаться на его характеристике: кандидат проходит тщательную проверку и может быть «отсеян» по самым незначительным причинам. Меня, например, проверяли более полугода, когда я готовился к поступлению в КАИ, хотя я был сыном чекиста (то есть из «надёжной» семьи, из «своих»), и получил рекомендацию «с самого верха». Впрочем, в серьёзности отбора нет ничего удивительного.

Однако вернусь к моей бабке и последствиям её гибели. После смерти Юрваса его коллегам пришлось заниматься документами на её могилу.

Дело в том, что не только он не хотел, чтобы его хоронили в могиле матери, не только он боялся лежать вместе с самоубийцей. Адам Григорьевич тоже боялся этого и берёг могилу моей прабабки для себя. Поэтому, когда потребовались бумаги на её могилу, Адам Григорьевич поспешил сказать, что ему не удалось найти их у себя. Тогда к нему пришли люди с работы отца и в считанные минуты нашли необходимые документы. Надо полагать, что он был немало перепуган, когда в его крохотную квартирку вторглись комитетчики и принялись рыться на полках и в ящиках.

Не знаю, как выглядели эти недолгие поиски, но могу хорошо представить чувства человека, из памяти которого не успели изгладиться годы сталинского режима и к которому приходят фактически с обыском сотрудники столь серьёзной службы. Пусть не с обыском, пусть ничем не угрожая, пусть без хамства, но сам факт присутствия гэбэшников в квартире и унизительная процедура «прочёсывания» ящиков стола и шкафов…

Именно этот инцидент положил конец нашим отношениям. Дед почему-то озлобился и на меня. Или не озлобился, а просто затаился внутри себя, сжался в комок. Как-то я привёз ему большую бутылку водки и что-то из папиных вещей на память. Дед посидел со мной за столом, а затем и спросил как-то недобро.

– Ну, что тебе надо?

Почему-то он решил, что я приехал не просто так.

– Ничего не надо.

Мне ничего не было от него нужно, и его вопрос так и остался для меня непонятным, бессмысленным и обидным.

Потом мы не общались много лет. Сегодня мне горько думать, что я не «переломил» себя и не сделал попытку пойти на контакт с ним. Я твёрдо знаю, что он не стал бы упрямиться, принял бы меня радостно. Теперь знаю наверняка, потому что летом 2003 года он позвонил мне и слабым, неузнаваемым

голосом произнёс: «Андрюша? Это Адам Григорьевич. Приезжай ко мне. Нам надо поговорить». Он назвался по имени и отчеству, а не так, как делал раньше: «Это деда Адик!»…

Я приехал к нему, взяв с собой жену. Признаюсь, одному мне ехать было боязно. Не могу объяснить причины, не понимаю того страха, но что-то тревожило (в том числе и возможность его смерти во время моего визита). Поэтому я попросил жену поехать со мной. Когда Адам Григорьевич отпер дверь, я поразился его облику: похудел, иссох, полностью облысел. Он плохо ходил, но отказался от моей руки и пошёл по коридору, держась за стену.

– Я сам, сам! – Он всегда был по-напускному строг и в этом не изменился.

Увидев меня, он протянул мне руку для пожатия, как на официальной встрече! Я же в ответ привлёк его к груди и поцеловал его. Быть может, за всё время после смерти моего отца я не испытывал такого сладкого чувства родства, как в тот момент. И дед тут же оттаял, заговорив с нами, как будто между нами не пролегло десять лет разлуки. Он с трудом передвигался, и глядеть на него было больно, однако он не позволил нам включить плиту, нарезать колбасу, вскрыть консервы.

– Я сам, сам…

Заготовил он для нашей встречи уйму всякой всячины: красная икра, водка, всевозможные копчёности! Но главное – он отложил все имевшиеся у него немногие фотокарточки моей бабушки Гали. На одном снимке она выглядит настоящей голливудской звездой сороковых годов. И ещё он дал нам денег.

– Вот я для вас отложил, – сказал он, порывшись на полке с бельём, и достал конверт, на котором было написано: «Андрюше».

– Я знаю, что делаю! – воскликнул он скрипучим голосом, когда я попытался возразить. – Мне пора умирать. Я всё рассчитал. Пусть это будет вам маленьким подспорьем. Мне всё это уже ни к чему…

И я вдруг ясно ощутил, что он и впрямь умрёт в ближайшие месяцы, а то и дни. Он готов был умереть. Он собирался в путь. Ничто не держало его здесь, кроме, возможно, узелка нашей бессмысленной размолвки, который требовалось развязать.

Мы сидели и долго разговаривали. Он рассказал о своей матери и бабушке, поведал о том, как советская коллективизация перемолотила их семью, о первых своих впечатлениях, связанных с приездом в город и поступлением в институт…

Он всё просил, чтобы мы ещё по рюмочке выпили, ещё и ещё. Настаивал, даже требовал, чтобы мы кушали всё, что он заготовил для встречи (мы не могли одолеть и пятой части угощений). Он говорил и говорил, вспоминая о своей жизни и о

жизни Советского Союза. Он ничего и никого не ругал, а про мою бабушку сказал: «Она была лучшей учительницей. Таких больше не найти. Ты должен гордиться ею». И вручил мне орден, которым она была награждена.

К сожалению, я, перегруженный эмоциями, позабыл большую часть из того, что рассказал дед. Мне казалось, что из моей памяти не выпадет ничто – настолько выразительными казались его неяркие слова, его слабый голос, его полупризрачный облик, но получается, что забыть легко.

– Вот приходите ко мне двадцать четвёртого декабря, – сказал дед. – Посидим, помянем Юру…

Но он не дожил самой малости до этой даты.

***

Однако я тороплюсь и забегаю вперёд…

Пока ещё Юрвас не служит в разведке. Эта работа ждёт его впереди. Для начала он закончил Бауманский, работал в одном из многочисленных «почтовых ящиков» (так назывались в те годы закрытые учреждения), стал автором многих изобретений, затем пошёл учиться в Академию Внешней Торговли, после чего был отправлен в Индию.

Вот тут-то всё и началось…

Любопытно, что в Академии он изучал испанский язык. На собеседовании перед отъездом в Индию он не сказал, что знал по-английски лишь несколько фраз, в анкете указал: «свободно владею испанским и английским языками». И улетел в Дели, где в срочном порядке принялся учить английский. В этом поступке заметно проявился его характер, без которого он вряд ли вжился бы в «шкуру» разведчика.

Вопреки сложившемуся мнению, будто для всех является непостижимой тайной, кто из служащих торгпредства или посольства являлся гэбэшником, должен сказать, что это не соответствует действительности. Советская колония за рубежом – это настоящая деревня, где всё на виду, все с удовольствием сплетничали друг о друге, перемывали косточки, поливали грязью. В те годы (я веду речь о 1960-1970-х годах) выходить за строго ограниченную территорию Городка, обнесённого кирпичным забором в человеческий рост, не разрешалось. За это, конечно, не карали слишком строго, но предполагалось, что жить мы должны были на нашей территории, ибо она считалась землёй нашего государства, а за забором – чёрт его знает что могло случиться. Разведчики же покидали нашу территорию чаще других и нередко в одиночку. Это не оставалось незамеченным

«чистыми» гражданами. А так как наши сограждане в течение нескольких лет варились в весьма тесном котле, то они живо обсуждали свои наблюдения друг с другом.

Первый заезд в Индию я теперь помню смутно. Там я пошёл в первый класс. Там я впервые влюбился и поцеловался (наверное, это было очень смешно). Там я впервые распорол ногу, спрыгнув с дерева на битое стекло. Там я впервые нырнул в бассейн с трёхметровой вышки во время дикого муссонного дождя. Там я многое сделал впервые, и за это я благодарен Индии, благодарен за по-настоящему счастливое детство…

Юрвас тем временем познакомился с сотрудниками нашей разведки, и они околдовали его.

Прошло четыре года, мы вернулись в Москву, поселились в Чертанове – пустынном и грязном районе. Позже Чертаново озеленилось и превратилось в чудесный край. Но в 1970 году вокруг нашего дома не было ничего, кроме грязи, грязи и ещё раз грязи. Грязь лежала всюду. Помимо грязи, были пустыри и густой лес, где встречались лоси и лисицы и где росли настоящие грибы, из коих можно было варить суп. Совсем недалеко от нашего девятиэтажного дома торчали из земли бревенчатые избы, паслись коровы. Сегодня ничего этого нет. Грязь убрана с улиц, огороды с клубникой уничтожены, яблоневый сад вырублен, из леса ушли лоси, исчезли лисицы, изгнаны зайцы, а сам лес завален мусором…

***

Итак Индия…

Когда я пошёл в пятый класс, мы в 1970 году вновь, после двухгодичного пребывания на родине, уехали в Дели. Только отец теперь работал там в чине заместителя торгпреда СССР и одновременно занимал должность по линии внешней разведки. Я этого не знал. Затем состоялся разговор, в котором он открыл мне, что он – сотрудник разведки, капитан КГБ. Я не понял того, что он мне сообщил.

Работал он много. Пил тоже много. Ссоры в семье происходили убийственные. Любая командировка в Бомбей или Мадрас заканчивалась душераздирающим скандалом со стороны моей матушки. Всякий раз она готовилась к ссоре дня за два, начинала мрачнеть, сосредоточенно вычисляя что-то и выстраивая в уме непостижимый лабиринт своей логики, выхода из которого не существовало ни для кого. Она встречала Юрваса в аэропорту и уже по дороге домой начинала делать какие-то намёки на то, что ей, мол, известно о чём-то.

– Что ты выдумываешь, Нинка? – возмущался Юрвас.

– А ты думаешь, я не понимаю, зачем ты туда летал? С этой встречаешься! Мне всё известно, мне обо всём сообщили! Думаешь, только у тебя есть друзья и знакомые?

– Послушай, ты просто дура! Неужели ты полагаешь, что я организовал себе командировку из-за какой-то бабы? Кто тебе глупость такую сказал?

– А ты думаешь, у меня собственной головы нет? Ты только ради этой проститутки и потащился в Мадрас. Какие ещё у тебя там могут быть дела? Мне про эту стерву все уши прожужжали…

И дальше в таком же духе. Я знаю об этом, так как несколько раз я был с ними в машине, когда они выясняли отношения по дороге из аэропорта Палам, который позже стал носить имя Индиры Ганди. То были чёрные времена. В школе у меня не ладилось, я приносил немало плохих отметок. Мать злилась.

– Ты что? Как мы людям в глаза смотреть будем? У других дети нормально учатся, а ты на что похож?

Однажды я не выдержал и, возвращаясь из школы, выбросил дневник в мусорный ящик, стоявший у нас во дворе. В дневнике была либо «двойка» по математике, либо оценки за четверть или полугодие (теперь уже не вспомнить). Поступок был нелепый, но я твёрдо настаивал на том, что понятия не имею, куда мог подеваться дневник. Тут меня не могли сломить никакие допросы. Не мог я стерпеть очередных сований меня мордой в раскрытый дневник по поводу плохих отметок. Ну что поделать, если я не переношу, когда меня ругают!

Подозреваю, что мать сходила в школу и посмотрела журнал нашего класса, сделать это было легко. Я был наивен, вышвырнув дневник в мусор. Уничтожительная брань в мой адрес продолжилась.

– У других дети, как дети, а ты? Почему Галя Приписнова учится на одни пятёрки? Почему Олег Щедров легко разговаривает по-английски, а Таня Клименко даже песни поёт на английском языке? Почему у тебя ничего не получается в школе? Почему ты только рисовать любишь? Что ты будешь делать со своими рисунками, когда вырастешь? Когда ты за голову возьмёшься? Ты подумай, какую должность занимает папа!

При чём тут должность папы? Какая связь между моей учёбой и его должностью, я уразуметь не мог. Разве могли мои отметки как-то повлиять на его должность? А главное – я не мог понять, почему они могли жить так, как жили, то есть ругались напропалую, забыв обо мне, или напивались по очереди, сбрасывая напряжение, а я должен был подстраиваться под их социальное положение и «соответствовать» этому положению.

Почему я не мог быть тем, кем я был? Почему я должен был изображать из себя кого-то иного? Зачем мне было любить химию, если она не нравилась мне? Как я мог любить физику, если она для меня скучна?

До сих пор не понимаю, почему мои родители не умели гордиться моими лучшими сторонами. Почему они не гордились тем, в чём я был талантлив? Почему, вспоминая о моём пристрастии к рисованию и сочинительству, говорили, что это просто увлечения, хобби…

А когда я, будучи четырнадцати лет, внезапно открыл для себя мир кино и взял в руки кинокамеру, решив, что посвящу себя созданию кинофильмов, матушка презрительно бросила мне: «Неужели ты хочешь всю жизнь крутить ручку кинокамеры?»

Я почему-то испугался её слов, но не отказался от кинокамеры и даже снял мультипликационный фильм, главным героем которого были игрушечные автомобили и пластилиновая горилла красного цвета. А много лет спустя, закончив МГИМО, отработав положенный молодому специалисту срок в Министерстве Внешней Торговли, потрудившись затем фотографом в МАХУ, я был зачислен во ВГИК (сразу на второй курс). За эти годы я так и не предал мою любовь к кинематографу, продолжал «крутить ручку кинокамеры», попал на телевиденье и почти семь лет работал режиссёром и оператором.

Но этот извилистый путь мне ещё только предстояло пройти, приняв после смерти отца первое в жизни по-настоящему самостоятельное решение изменить что-то в моей жизни. До тех же пор я жил под крылом родителей, не в силах ничего противопоставить их напористости и их «знанию жизни». Послушание часто бывает плохим помощником.

Моя мать не всегда была Горгоной, но порой она становилась ужасна. Мне нелегко говорить об этом, ибо мои родители живут во мне, составляют часть меня, и я ношу в себе как моего отца, так и мою мать. Я есть неотъемлемая часть моей семьи, из какой бы глины ни была слеплена эта семья, и шлейф всех человеческих качеств моих предков тянется за мной из глубины веков. Мне всегда хотелось их любви и внимания, всегда тянуло к ним, поэтому особенно горько вспоминать поведение матушки в те годы. Теперь она заметно изменилась, стала старенькой и более мягкой, но мудрости (увы!) не приобрела. Она всегда сетовала на то, что Юрвас был для неё стеной, затмевал весь мир, что именно он не дал ей развиться.

Как развиться?

Разве можно не дать развиться тому, что имеет бесконечную

потребность внутри тебя и силу для развития? Разве можно остановить рост стебелька, который пытается вылезти из-под асфальта и в конце концов пробивается, наплевав на все законы физики?…

Я не могу понять, как отец работал в тех условиях. Мать истязала и меня, и его. Его в первую очередь. А ведь результаты на работе у него были, как я понимаю, фантастические. Начальник советской разведки писал в своих воспоминаниях, что материалы, которые Юрвас направлял в Центр, «цены не имели». А его тесная дружба с сыном Индиры Ганди – премьер-министра Индии тех лет. Такие агенты влияния многим другим разведчикам и не снились.

Позже, в разведшколе, один из моих приятелей показал мне учебное пособие, в котором анализировалась работа политической разведки за 1970-е годы, и я увидел имя моего отца, упомянутое в самом лестном для меня виде. Всегда приятно встретить в серьёзной литературе имена знакомых тебе людей, но особенно приятно прочитать имя отца. Перечитать по буквам… Он был мастером своего дела. Он имел колоссальный успех, несмотря на царивший в семье кошмар.

Скупые упоминания о том времени я нашёл в тетрадке, куда Юрвас изредка заносил свои мысли.

«Сентябрь 1973. Гуляешь утром, часов в шесть, по территории и вспоминаешь слова: “Если есть рай, то он здесь”. Вся территория утопает в зелени и цветах, листья деревьев, асфальтовые дорожки, брильянтовая трава - всё это вымыто дождём. Тишина, ярко-голубое небо с пышными узорами облаков. Как in the garden of Allah. Никто на тебя не наорёт, не набьёт тебе морду, не зашипит злобно, проходя мимо».

«23 сентября. Раздражает, что по несколько раз в день вырубают свет, особенно, когда играет музыка (магнитофон, проигрыватель)».

В 1971 году электричество в Дели выключали регулярно из-за того, что шла пакистано-индийская война. Фары на машинах были заклеены чёрной бумагой, оставлялась лишь узенькая полоска для света; по нашей территории ходили дежурные и проверяли, не зажёг ли кто чрезмерно много свечек в квартире, стали постепенно отправлять в Москву женщин с маленькими детьми. Нам, тринадцатилетним мальчишкам, всё это казалось крайне забавным. Мы даже бегали по нашей территории с фонарями в руках и светили ими в пролетавшие над нами самолёты. Мы не подозревали, насколько это могло быть опасно… Война закончилась быстро, почти стремительно, но электричество продолжало отключаться и в 1972, и в 1973, и в

1974 годах, хотя значительно реже, чем во время войны.

«3 октября. Неожиданно наступила хорошая погода, а утром ещё прошёл дождь. Стало совсем, как в сказке.

Вечером имел разговор ни о чём с Ниной. Она: если меня не видели днём ни в посольстве, ни в торгпредстве, то где я бываю? И куда я езжу каждый вечер? Я: ведь даже хорошему писателю, чтобы написать, нужно что-то увидеть, а я не писатель, но должен много записывать. Если я сижу и пишу, значит, я сначала должен что-то сделать.

А потом опять бесконечная тема о разводе, о разделе, об отъезде в Москву и т.д. Пришлось уйти из дома».

Юрвас не понимал главного – его жена не поддавалась убеждениям. Её невозможно было убедить, вразумить. Он же продолжал объяснять ей, втолковывать, спорить. Нина Ивановна была женщиной красивой, яркой, но очень неглубокой. К сожалению, многим умным людям достаются именно такие жёны, но умные люди готовы понять и признать что угодно, только не то, что они «промахнулись» в выборе спутницы жизни. Юрвас тоже не хотел согласиться с тем, что совершил эту ошибку. Поэтому на всякий идиотский выпад жены он пытался ответить ей доходчиво, внятно и убедительно.

«6 октября. Нина потребовала взять билеты в Москву, так как, оказывается, возвратилась Светлана Гуральская!? Почему - просто она терпеть её не может!

Весь день был испорчен».

Иногда Юрвас уходил к Леониду Шебаршину (заместителю резидента в Дели) и просил его вразумить Нину. Как проходили эти вразумления, я не знаю.

«Тренировка мозга. Анализ поступков (поведения) и причин такого поведения. Контроль за этими поступками в дальнейшем…

Для моего характера (и совместимости с нининым) нужно заставить себя не обращать внимание на её постоянные нелепые обвинения и слежку за мной. Заставить себя рассматривать это, как положительный момент. Превращать её вопросы в шутку, не "заводиться", избегать опасных тем, которые непременно приводят к ссоре. Не поддерживать ссор, помнить о том, что доказать что-либо Нине невозможно».

Однажды произошла очередная ссора. Я сидел за письменным столом, пытаясь делать уроки, а родители мои яростно грызлись. Вдруг отец резко поднялся и сказал матери: «Ну и чёрт с тобой! Живи! Живи одна! Больше меня не увидишь!»

Он хлопнул дверью. Я сжался. В том хлопке двери сконцентрировался весь ужас, который я мог представить. Через минуту дверь распахнулась, и в коридор влетели какие-то тряпки.

Увидев их, я понял, что это – висевшее на просушке бельё. В следующую секунду я понял другое – Юрвас снял бельё, чтобы забрать верёвку. Мысль ещё не успела сформулироваться у меня в голове, а я уже вскочил на ноги и, похолодев от ужаса, бросился за отцом. Вместе со мной вылетела за дверь и моя мать. Должно быть, до неё вдруг что-то дошло. Испугалась она не на шутку.

Был поздний вечер. В Индии темнеет рано. Отец быстрым шагом шагал прочь от дома. Мы бежали за ним, я видел болтавшуюся из его кармана бельевую верёвку, гладкую, белую, выразительную. Догнав его, мать принялась извиняться, хватать его за руки, за плечи. Она поняла, что шутки кончились. Он и впрямь шёл вешаться.

Дальше помню смутно. Мы долго ходили, они продолжали покалывать друг друга словами, успокаиваясь, сглаживая накалённость обстановки. Когда мы проходили мимо здания, где располагался клуб, отец вдруг сорвал с ноги сандалию и швырнул её вверх. Сандалия улетела на крышу… Последний выплеск ярости в тот день…

Так минуло три года. За это время я сумел полюбить английский язык и возненавидеть химию, я начал интересоваться девочками, оставаясь при этом на редкость целомудренным мальчишкой. Я побывал в Бомбее, Мадрасе, Удайпуре, Гвалиоре, Кашмире и многих других чудесных уголках Индии. После окончания седьмого класса меня отправили в Москву и оставили в интернате, который вошёл в историю моей жизни как Приют. В восьмом классе надо было сдавать выпускные экзамены, а в Дели не было такой возможности. Вот меня и вернули на Родину, казавшуюся мне в те дни пугающей, варварской. Больше половины моей жизни на тот момент я провёл в Индии. Москва была для меня чужой.

«Кусочек хлеба, стакан кефира, и кайф играет в голове. Родная мама меня не узнает, когда на свиданье приедет ко мне». Это строки из нашей приютской песни. Другой популярной песенкой в то время у нас была мелодия «По приютам я с детства скитался» из фильма «Республика ШКИД».

***

Москва меня потрясла. Она показалась мне страшной, необузданной, примитивной. Дели значительно грязнее Москвы, заплёваннее, пахучее, но территория советской колонии была идеально чистой. Москва обдала меня грязью. В том числе и грязью слов. Здесь я понимал всех, стало быть, слышал и понимал любое ругательство, выплюнутое встречным прохожим. Вообще

жизнь в советской колонии была для детей в некотором смысле жизнью идеальной. Там никто не сквернословил, никто не дрался. Всё было тихо, спокойно, правильно.

Поток московской матерщины меня просто сломал. За три года в Дели я успел забыть и жестокость школьных коридоров, и жестокость улицы. Я не был готов к той волне необузданной беспощадности, которой встретила меня Москва. А тут ещё интернат – надо было жить бок о бок с чужими людьми, ходить в общий, как в казарме, туалет, чистить зубы над общим умывальником, ночевать в одной комнате с посторонними парнями, вслушиваясь в их совсем не мальчишеский храп. Многие из моих будущих товарищей поначалу показались мне тупицами. Сейчас, оглядываясь туда, я думаю, что в действительности я был не столько ошарашен их ограниченностью (сам-то я был ничуть не интеллектуальнее и вскоре скатился почти на самое дно), сколько просто испугался их. Я не был приучен к грубости, наглости, хамству, агрессивности в отношениях между детьми, а в школе можно было запросто получить хорошего тумака от какого-нибудь дебила, если не подсказать ему на уроке английского языка.

Одним словом, я вступил в новую жизнь. Крохотного щенка швырнули в морские волны, даже не предупредив его о том, что такое море.

– Плыви, малец!

Отец вернулся в Дели, а мать ещё некоторое время находилась со мной в Москве. Должно быть, оттягивала своё возвращение в раскалённую столицу Индии. Не любила она Дели, отчаянно не хотела ехать туда и всё время вываливала на Юрваса какие-то помои. Я пытался разобраться, что с ней происходило, но она отказывалась от моего внимания, злилась, срывала своё настроение на мне.

Как-то раз, когда я был дома, она крепко выпила и швырнула в меня бюст индейца (был у меня такой бюст краснокожего воина, сделанный из папье-маше), индеец раскололся, ударившись о стену. На столе у меня лежал длинный скальпель, которым я чинил карандаши, и я почувствовал всей кожей, что через несколько минут этот скальпель может воткнуться в меня, полетев вслед за индейским бюстом. Пьяное раздражение способно на всё… Я тихонечко спрятал этот тяжёлый нож в выдвижной ящик стола, стараясь делать это плавно, без резких движений, дабы не привести мать в неуправляемое состояние. В то время я не был готов к смерти.

Мать частенько говорила с отцом о разводе, мол, разведёмся мы, тогда и посмотрим, кто есть кто. Я не понимал, о чём она

твердила. Знал лишь одно: ни с кем из них не останусь. Моя семья состояла не из отдельных отца и матери, а из их совместности, из их единства. Хотя единство это было тягостным. Впрочем, я верил, что однажды всё наладится.

А матушка заканчивала каждый наш с нею разговор одной и той же фразой.

– Иди, иди к своему папочке!

Мне казалось, что в ней не было по отношению ко мне ни самой малости любви. Но даже теперь, когда я смотрю на всё абсолютно трезвыми глазами, мне хочется думать, что это моё мнение (об отсутствии в ней любви ко мне) было ошибочным. Она не могла не любить меня. Просто она не умела выразить свою любовь.

Когда она уехала к Юрвасу в Дели, я будто утонул. Вокруг меня вязко струились абсолютно чужие мне чувства и эмоции. Мир был заполнен всем самым для меня противным. Мне казалось, что я не выдержу и умру.

Но я не умер. И это доказывает, что свыкнуться можно со всем, даже самым неприемлемым. Теперь я вспоминаю о Приюте, как об одном из самых чудесных периодов моей жизни. Плохое выветрилось, осталось только хорошее. Тем и замечательна моя жизнь: она состоит только из хорошего…

Меня пытались научить курить, но я отказывался, так как не видел в этом ничего вкусного. Меня приучали к картам, однако я не втянулся, не было во мне азарта. Зато мне открылся безбрежный мир женщин, о котором я, естественно, знал, но с которым никогда ещё не соприкасался. Только сладкие и томительные мечты жили во мне… Почти в каждой комнате были спрятаны где-то фотографии с голыми девицами; эти фотографии воспламеняли воображение и тело, но не приносили удовлетворения. Меня окружали мои сверстники и мальчишки постарше, я мог поговорить на эту тему. В Индии я был практически лишён такой возможности, так как ребят рядом со мной было очень мало (наш класс насчитывал всего семь человек).

Однажды я получил от папы письмо, в котором он сообщил мне: «Мы уже целый месяц совсем не ругаемся с мамой». Эта новость не просто порадовала меня, но превратила на некоторое время в счастливейшего из людей. Папа и мама не ссорятся! Что может быть лучше? Что может быть замечательнее? Что может быть волшебнее? Что может быть невероятнее?

И вот я приехал к ним на лето. Ожидание было долгим, но оно оборвалось пропастью безысходности. Я прилетел в Индию, мою родную Индию, и обнаружил, что родительские ссоры, к

сожалению, возобновились. Топор войны не долго хранился в земле. Помню, как после очередного скандала отец взял меня с собой в ресторан.

– Поехали, посидим где-нибудь.

Он пребывал в отвратительном состоянии. Мать опять ревновала, начала крепко пить…

Ревность… Страшная, разрушительная сила… Эта стихия не поддаётся усмирению разумом и потому губит всё, что попадается ей на пути. Уничтожает людей любимых и людей ненавидимых.

Юрвас отвёз меня в какой-то ресторанчик и неожиданно для меня поведал мне о своей жизни. Он оказался замечательным стратегом, он опередил мою мать. В его изложении история его жизни оказалась более трагичной, чем это могло бы выглядеть в устах моей матери. Он умел выстраивать вербовочную беседу! Моя матушка никогда не сделала бы тех акцентов, которые поставил Юрвас. Именно таким и должен быть профессиональный разведчик. Много лет спустя я оценил это…

В ресторане царил полумрак, играл оркестр. Обстановка для меня была новой и приятной. Сидя напротив меня с кружкой пива, отец рассказал мне, что уже был женат однажды. Я видел, что эти слова дались ему нелегко. Он не знал, как я восприму наличие какой-то женщины, которая доводилась когда-то ему женой. Я слушал спокойно, старался никак не реагировать. Да и как мог я реагировать? Хохотать? Плакать? Хмуриться? Я просто слушал.

Ту жену звали Валентина. Позже я не раз слышал её имя во время родительских ссор.

Не могу ручаться, что Юрвас и Валя любили друг друга по-настоящему. Возможно, они вообще были просто товарищами, которым подвернулась возможность уйти от родителей, а заодно и начать активную половую жизнь. Но как бы то ни было, однажды их чувства угасли. Они захотели чего-то иного. Юрвас повстречал Нину, а Валентина – кого-то ещё. У них был уговор: не мешать жизни друг друга, не вторгаться в интимные отношения. Отец условился с Валей о знаке на тот случай, если кто-то из них приводит в дом любовника (любовницу). Таким знаком была воткнутая в дверь булавка. Однажды он вернулся домой с работы и, дёрнув дверь, обнаружил, что она заперта изнутри. К своему удивлению, он обнаружил воткнутую в дверь булавку.

– Это было подобно плевку в рожу! – признался он мне. – И тогда я понял, что наша семья на самом деле кончилась. Я уже встречался с Ниной, но не думал, что мои отношения с Валей исчерпались…

Он ждал от меня понимания, но я был слишком юный, чтобы ответить ему. Я не мог знать, что такое семья с точки зрения взрослого мужчины. Я не мог знать, что такое сексуальные связи. Для меня эти отношения лежали пока в области далёкого будущего, почти неосязаемого будущего. Я не мог понять Юрваса, я понял только ход изложенных событий, но обсудить это у нас с ним не получилось.

Мне жаль, что отец мало общался со мной. Сначала я был мал и не был готов к разговорам, затем я повзрослел, а Юрвас стал слишком занят.

«Почему Христос не оставил никаких записей, не изложил своего учения на бумагу, а отдал это на откуп своим ученикам?

Зачем Богу нужно было искупление грехов людей ценой жизни собственного сына?

Если Христос знал, что он не умрёт, а "вознесётся", то в чём был его подвиг? Многие до него и после него страдали не меньше и тоже невинно. Если всё-таки это подвиг и Он искупил грехи людей - что же изменилось в их жизни после Распятия? В рай войдут "добрые" христиане. А "добрые" иноверцы?

За "поведение" электрических машин ответственен конструктор, а не сама машина. Если нас создал Бог, и мы плохие, значит, Он нас создал не достаточно совершенными, плохими, и не за что нас наказывать».

***

Последнее школьное лето в Индии. Последнее лето детства.

Я приехал на каникулы после окончания девятого класса. В качестве подарка отец поднёс мне чешскую гитару, и я подолгу просиживал на балконе, бренча на ней, чем околдовывал слух и сердце девочек, которые под балконом подслушивали, как я перебирал струны. Получалось испанское ухаживание наоборот – не мужчина под балконом с гитарой, а женщина под балконом мужчины, играющего на гитаре. В советской колонии я был единственным мальчишкой с гитарой. Это не просто явление, а нечто больше…

В то лето мы отправились в поездку по Индии. «Детская» половина нашей группы состояла из меня, Антона Руднева, Миши Галузина и Катерины Фадеевой. Мы были веселы и беззаботны. Мы не думали о будущем. Нас не интересовало наше будущее. Мы были вечными, бессмертными, жили только настоящим днём, ныряли в могучие океанские волны, подставляли себя раскалённому солнечному воздуху. Мы не знали, что ждёт нас впереди. А судьбы сложились по-разному… У Кати Фадеевой

родится два ребёнка, а третий умрёт совсем младенцем; у неё не сложится семейная жизнь, она уйдёт от мужа и займёт хорошее место в компьютерном бизнесе. У Антона Руднева сгорит заживо на даче младший братишка, а сам Антон погибнет в своей римской квартире, и причина его смерти останется для всех неразгаданной тайной. Миша Галузин станет японистом, взлетит вверх по карьерной лестнице и много лет проведёт на высших посольских должностях в Японии. Интересно, смогли бы оставаться столь же счастливыми, если бы знали, что нас ожидало впереди? Наверное, мы вообще не очень понимали, что такое будущее.

Но в то время, о котором я вспоминаю, мы были юны и счастливы выдавшимися нам школьными каникулами. В то лето я впервые прикоснулся к обнажённой груди девушки (нет, нет – только прикоснулся и только к груди)…

В аэропорту нам «внезапно» встретился господин К, крупный индийский бизнесмен, которого мы с лёгкой руки Миши Галузина прозвали Коньяком за его пристрастие к выпивке. Этот Коньяк проехал с нами по всем городам, и лишь много позже я узнал, что его поездка была заранее предусмотрена Юрвасом по работе, а мы, то есть наша молодёжная компания, были всего лишь ширмой. В разных городах Юрвас встречался с разными людьми, а мы беззаботно шумели вокруг, поэтому выглядело всё вполне безобидно и не могло вызвать подозрений у спецслужб Индии. Та поездка… это отдельная история…

Последнее лето детства в моей Индии…

Однажды Юрвас привёз меня к Фадеевым. Они жили не на территории посольства, а в городе, в доме со сторожем-индийцем. У ворот их дома он сказал:

– Андрюха, жди меня здесь. У меня очень важная встреча. На обратном пути я заеду за тобой.

Что это была за встреча, я не знаю. Юрвас часто брал меня с собой для прикрытия. Иногда я сопровождал его в ресторан, иногда – в другой город. Временами мне приходилось «брать на себя» детей тех людей, с кем Юрвасу нужно было поговорить без помех, и тогда я занимал детвору беседами на отвлечённые темы. В первую такую поездку он включил радио и быстро поймал волну, на которой переговаривалась местная контрразведка.

– Сейчас ты услышишь, как они общаются между собой. За нами едут. Слышишь?

Саша Фадеев, отец Катерины, работал вместе с моим отцом в разведке, и они долго обговаривали какое-то дело. Затем Юрвас уехал. Мы провели с Катериной обычный вечер, наслаждаясь беспредметной трепотнёй и слушая пластинку Suzi Quatro (эта

блондинистая бас-гитаристка в то лето заворожила нас своим надрывным голосом). Юрвас вернулся к полуночи и был пьян. Точнее сказать, он был пьян настолько, что едва мог передвигаться. Как мне сказал позже один из его сослуживцев, это был стиль работы Юрваса. Он любил крепко выпить с потенциальным агентом, считая, что так это легче «навести мосты». Наверное это из той же области, что «путь к сердцу мужчины лежит через его желудок». Так или иначе, но Юрвас добивался своего.

Иногда он ловко обманывал. Помню, как мы готовили с ним две одинаковые бутылки виски для предстоявшего спора. В чём именно состоял спор и какова была ставка, не знаю, но одну бутылку мы готовили для Юрваса: аккуратно сняли крышку и наполнили бутылку обыкновенной водой, подкрасив её «Рижским» бальзамом под цвет виски и добавив чуточку виски для запаха. Эту бутылку пил отец, а другая досталась индийцу. Пили из горлышка. Кто вышел победителем, у меня нет сомнений.

Что ж, каждый выбирает свой путь… К тому времени выпивка давно перестала радовать Юрваса. Он пользовался ею, как пользуются удобным инструментом…

Едва мы уехали от Фадеевых, отец сразу уснул в машине. В то время у нас была зелёненькая «тойота-корона», необычайно лёгкая в управлении и подвижная. Я думаю, что Юрвас начал учить меня управлять машиной (когда мне было тринадцать лет), чтобы я мог помогать ему в таких страшных ситуациях. Я не знаю, на какие силы он опирался, когда ехал в тот раз с задания, но он мгновенно отключался, попав в мои руки. Мне стоило немалых трудов выгрузить его из машины и поднять на третий этаж, где мы жили.

Не хочется, чтобы читатель пришёл к неправильному выводу, что вся работа Юрваса строилась на выпивке. Если бы так, он не добился бы ничего.

Да, разведка не позволяет расслабиться, поэтому там многие пьют. Об этом обычно умалчивается, чтобы не принижать облик героев невидимого фронта. Однако факт остаётся фактом, и с годами это не меняется. Как заметил с грустной иронией в своей книге Леонид Шебаршин, не каждому в его службе удавалось вступить в старость со здоровой печенью. Злоупотребление спиртным ломает судьбы разведчиков так же, как судьбы людей любой другой профессии. Кто-то держится год или два, кто-то – десять лет. Спиртное помогает снять напряжение. Оно же и подтачивает многих. Но гораздо больше подтачивает сама работа…

Возвращение Юрваса из Индии было внезапным и стремительным.

После смерти отца мама рассказала, что индийская контрразведка устроила за Юрвасом абсолютно нахальную слежку, сидели у него «на хвосте» нагло, не таясь. Однажды его машину (с неприкасаемым дипломатическим номером!) остановили на ночном шоссе какие-то люди, попросили выйти и сильно избили.

– Он всю ночь после этого ходил в ванную, – вспоминала мама, – всё сморкался и сморкался, в носу что-то мешало ему после удара. Страшно было. Просто страшно. Ведь нам всем казалось, что индийцы не смеют поднять руку на белого человека. А уж на дипломата… Но вот посмели…

«Миролюбие индийского народа становится общепризнанным штампом. Штамп кочует из брошюры в брошюру, из статьи в статью, из речи в речь, пробивается в официальные документы. Хитроумные индийцы умело подпитывают это мнение. Первое же серьёзное соприкосновение с индийской действительностью развеивает этот миф… Жизнь в Индии жестока к тем, кого она не милует и в других странах – к неимущим, к национальным меньшинствам, к слабым, к чужакам». Это слова Леонида Шебаршина, который лучше многих других познал индийцев, работая в те годы резидентом в Дели.

Юрвас был для индийцев не просто чужаком (несмотря на множество друзей в правительстве Индии), но чужаком опасным – он забрался чересчур высоко, поэтому его следовало остановить любым способом. Он умел стать другом, где бы ни появлялся. Сдружился он и с одним из сыновей Индиры Ганди – Санджаем. А это было слишком глубоким вскапыванием политической почвы, недопустимо глубоким вскапыванием. Ни одна контрразведка не может позволить такого.

Позже Санджай погиб, разбился на самолёте возле аэропорта Сафдаржанг (к тому времени мы уже два года жили в Москве). Санджай увлекался самолётами. Самолёты любил и мой отец. Случайное ли это совпадение? Официальная версия гласит, что Санджай разбился из-за какой-то неполадки двигателя. Но мало кто из работавших в Индии по линии советской разведки, допускает возможность случайной гибели Санджая. Говорят, что он был убит, хотя доказательств тому не нашлось. Это была первая смерть в серии политических убийств в семье Ганди. После Санджая была убита его мать Индира Ганди, затем погиб от руки убийцы Раджив, её второй сын. Горькая участь семьи политиков…

Настал день, когда Юрвасу велели покинуть страну в 24 часа.

Сотрудники резидентуры вывезли его в аэропорт заранее, тайно, чтобы избежать возможных эксцессов, и он весь день просидел в самолёте, в полном одиночестве, ожидая взлёта. Полагаю, что чувствовал он себя не лучшим образом и о многом успел подумать.

Во время своего очередного визита в Москву Индира Ганди неожиданно для советской стороны стала просить, чтобы ей разрешили встретиться с Юрием, что у неё письмо для него. Никто не мог понять, о каком Юрии она вела речь. Кто-то предположил, что она имела в виду Юрия Андропова, возглавлявшего в те годы КГБ. Затем выяснилось, что она привезла письмо от Санджая. Юрвасу передали это послание позже, но никто из его коллег так и не сказал мне, что это было за письмо. Наверняка руководство Главка ознакомилось с содержанием письма. Возможно, там были просто слова дружбы…

Что я знаю о работе Юрваса в Индии? Практически ничего. Поначалу я не задавал ему вопросов, так как меня не интересовала его работа. Когда же я осознал, чем он занимается, я не осмеливался задавать вопросы, ибо он не мог на них отвечать.

Но какие-то крупицы проскальзывали. Так, однажды я узнал о том, что он летал в Кашмир не по своим документам. В чём была причина, точно сказать не могу, но знаю, что его имя не должно было «засветиться» в этот раз при поездке туда. Поэтому он взял паспорт Виктора Руднева (второй заместитель торгпреда) и с этим паспортом сел на самолёт. Юрвас был уверен, что индийцы (если он будет вести себя беззаботно) не обратят внимание на то, что в паспорте не его фотография. Он даже взял в рот сигарету, будто бы намереваясь закурить; чиновник же попросил его отойти с сигаретой в сторону. Юрвас неторопливо отошёл, чиркнув спичкой. Затем его окликнули, мол, ваши документы готовы, проходите дальше, сэр. Это был, конечно, огромный риск. У меня есть подозрение, что о том, что Юрвас воспользовался чужими документами, в резидентуре никто не знал.

Крупиц, из которых для меня складывается работа Юрваса, можно набрать много.

В Дели мы не раз появлялись в доме господина Д, у которого была русская жена Наташа и двое темнокожих сыновей. Леонид Шебаршин в книге «И жизни мелочные сны» называет его Джаганатхан. «Джаганатхан был талантливым, на грани гениальности учёным-микробиологом. Он был настолько талантлив, что получил в США собственную лабораторию, где увлечённо работал над средствами противодействия бактериологическому оружию… Джаганатхан время от времени

бывал в Индии, и в один из приездов уважаемый родственник познакомил его с русским. Русского звали Юра, он работал в торгпредстве и был очарован Индией. Если бы каждый советский человек был подобен Юре, то социализм, вне всякого сомнения, был бы построен. Знакомство убедило индийца, что он имеет дело с обычным гражданином идеального государства. Юра был умён, тактичен, остроумен, чуток и неподдельно добр».

Речь идёт о моём отце.

«Скоро, очень скоро Джаганатхан рассказал своему новому другу о секретной лаборатории в далёких Соединённых Штатах, поделился сомнениями и страхами, даже совета попросил: не бросить ли ему эту сытую и чуждую жизнь, не возвратиться ли в Индию? Судя по отчётам, которые направлял в Центр Юра (подполковник КГБ Юрий Васильевич Н., оперативный псевдоним – Луков), обращение Джаганатхана, говоря иным языком, вербовка на советский флаг прошла без затруднений, хотя вербовочная беседа продолжалась почти шесть часов и её краткое изложение, полученной в Центре почтой, занимало около 20 страниц…» – продолжает Шебаршин, в то время ставший резидентом в Дели.

И вот в один прекрасный день господин Д исчез для всех своих близких. Исчез без следа. Леонид Шебаршин пишет в своей книге (это единственный для меня источник информации), что это он и Юрвас организовали исчезновение Д.

Жена Джаганагхана много раз обращалась к Юрвасу с вопросом, нет ли хоть какой-нибудь информации о нахождении Д, не слышал ли он чего-нибудь (они же дружили). Она плакала и не могла найти причину исчезновения мужа. Юрвас лишь пожимал плечами и сочувственно покачивал головой.

Но я об этом ничего, разумеется, не знал. Я вообще не знал, что господин Д исчез.

И вот как-то раз я повстречал этого Д в Москве. Юрвас привёз его на нашу квартиру. Мы пили чай. Отец просил меня приготовить пластинку с музыкой Индии (ситары, тамбурины, таблы), но при их разговоре я, разумеется, не присутствовал. Когда Д уехал от нас, Юрвас предупредил меня: «Если кто-то вдруг спросит, что это за темнокожий человек к нам приезжал, отвечай всем, что это туркмен или узбек, плохо говорящий по-русски. Никаких упоминаний об Индии. Ты понял?»…

Как-то отец сказал мне:

– На нашей работе мы вынуждены обманывать других людей и даже часто причинять боль не только им, но даже их близким, хотя они этого не заслуживают. Увы, нам приходится делать это ради нашей Родины. Мы ведём войну без выстрелов и взрывов.

Мы ведём невидимую войну, чтобы не случилась война видимая, с выстрелами и взрывами. Иногда ради этого мои друзья погибают…

Много лет спустя я разговаривал с В.Б., и он поведал мне, что он занимался организацией быта мистера Д, подбирал для него повара, знакомого со всеми тонкостями индийской кухни. Он признался, что на тот момент он понятия не имел, для кого именно подготавливалась тонкая схема приёма некоего «гостя» с индийскими вкусами. Лишь путём многочисленных сопоставлений он позже сумел понять, кому предназначалась квартира, восточные кушанья и служанка со знанием хинди.

С исчезновением Д из Индии связан ещё один эпизод. В торгпредстве СССР работал Георгий Пузенков, очень улыбчивый и очень толстый мужчина. Однажды он повесился, не оставив никакой записки. Для всех жителей нашего Городка это был настоящий шок. Об этом говорили только шёпотом. Уже после смерти Юрваса я узнал, что Пузенков, приехав в командировку в Москву, интересовался у всех судьбой Д. Он даже Юрваса расспрашивал о господине Д. Вероятно, кто-то из индийцев обратился к нему с этой просьбой, облачив её, как это водится, в какую-нибудь невинную форму. Вероятно, этот человек имел прямое отношение к индийским спецслужбам. Может быть, по возвращении Пузенков из Москвы в Дели, индийцы предложили ему денег, может, ещё что-то было, теперь уж никто не скажет наверняка, что случилось. Так или иначе, но Пузенков, должно быть, понял, с кем вступил в отношения и испугался не на шутку. Контакт с иностранной разведкой или контрразведкой! Для советского человека не было ничего страшнее… Впрочем это лишь домыслы… Наверняка известно одно: Георгий Пузенков начал интересоваться господином Д, задавал много вопросов и вскоре покончил с собой. У него осталось двое сыновей… Но если Д через несколько лет воссоединился со своими детьми и женой, то дети Георгия остались сиротами.

Сколько всяких опасных тонкостей пронизывает разведывательную деятельность, сколько судеб ломает эта тайная служба, подтачивая их, словно подводное течение…

***

Когда Юрваса привезли из Женевы на носилках, многие из его агентов не могли понять, что произошло, почему он внезапно исчез, и они отказывались работать с тем, кого прислали на место Юрваса. Такова сила дружеских связей.

Как-то раз (я работал тогда ещё в «Медэкспорте») раздался

звонок у нас в секретариате, и голос спросил мою фамилию. Я подошёл и услышал испанскую речь. Кто-то затараторил, приняв меня за моего отца.

– Юрий, как дела? Наконец-то я нашёл тебя! Куда ты вдруг пропал?

Я вежливо остановил говорившего и объяснил, что я вовсе не Юрий, а его сын. Надо сказать, что нас многие путали по телефону из-за схожести голосов. Испанец стушевался и спросил, что с Юрием. Я ответил, что Юрвас попал в больницу. Голос замолк. Затем в трубке раздались гудки. Больше того человека я не слышал.

После смерти отца я вспомнил об этом эпизоде в разговоре с моей матерью, и она сказала: «Я знаю, кто это звонил. Он, как мне говорили, долго искал Юру, не хотел работать ни с кем другим…»

И я вспомнил сцену, когда к отцу приехал Юрий Иванович Попов – в то время резидент в Женеве.

Я не слышал всего их разговора, но один разговор коснулся моего слуха, что дало мне открыло мне совсем другую сторону этой службы и работающих там людей. Попов просил моего отца передать ему на связь какого-то агента. Агент, судя по всему, был очень важным. Но Юрвас ответил отказом.

– Нет, это мой человек!

Я не понял тогда глубины этих слов. «Мой человек»…

Есть агенты, которые наотрез отказываются продолжать работу, когда их передают другому разведчику. Видно, таким был «его человек». Вероятно, мужчина, дозвонившийся мне в «Медэкспорт», и был тем самым агентом. Он искал Юрваса, он не желал иметь дела больше ни с кем, он верил только ему. Но Юрвас внезапно пропал, и агент, вероятно, запаниковал: исчез тот, кому он бесконечно доверял, а это могло означать провал.

Юрвас же, прикованный к постели, всё-таки надеялся вернуться на службу, не думал о смерти, сопротивлялся ей. И «тот человек» был для него своего рода стимулом, маяком, фундаментом, на котором будут построены новые обелиски побед. Попов просил Юрваса написать «тому человеку» хотя бы письмо, но отец не согласился.

Он любил почёт и уважение, любил быть первым, любил добиваться невозможного.

А ведь к тому времени он уже устал от разведки.

Виталий Буданов, мой шеф в «Медэкспорте», вспоминая о своей поездке в Женеву, рассказывал мне, как он ехал однажды в машине с моим отцом, и Юрвас сказал:

– Устал я от этой работы. Надоела бесконечная конспирация,

«наружка» и вообще всё…

– Юра, а ты не боишься, что здешние «ребята» прослушивают тебя? – спросил Буданов, не без основания опасаясь, что в автомобиле могли стоять «жучки».

– Да пусть прослушивают. Они же прекрасно знают, кто есть кто…

И всё же, смертельно больной, он продолжал строить планы, думать о работе и даже не желал «поделиться» своей лучшей агентурой с коллегами.

***

Но до смерти Юрваса ещё далеко.

После высылки из Индии (это, кстати сказать, получилась очень тихая высылка, без официальных бумаг, без шума, Индия не стала скандалить) Юрваса отправили на УСО (курсы усовершенствования).

– Там просто дом отдыха, – говорил он, приезжая домой на выходные дни, – читаешь себе и читаешь, больше ничего не делаешь. Жаль только, что большинство людей там не ложится спать до глубокой ночи, галдят, уснуть не дают… Много пьют…

Сам он практически бросил пить к тому времени. С чем это было связано? Не знаю. Для меня такой факт был радостным, ибо я не переносил даже едва уловимый запах спиртного, исходивший от него. Должно быть, этот запах увязывался в моей голове со всеми пережитыми ранее кошмарными сценами родительских ссор.

Так или иначе, но отец почти перестал пить. Он сильно изменился после возвращения из Индии. Он искал контакта со мной, а я уже почти отбился от родительских рук.

Однажды он принёс мне журнал «Плэйбой».

– Взгляни-ка на это. Только так, чтобы мать не видела, а то она нам обоим отгрызёт голову. Тебе пора уже понять, что да как…

Журнал был на немецком языке, так что содержание статей и рассказов осталось для меня неизвестным, но не это было главное. С ярких глянцевых фотографий на меня смотрели красивые женщины. Их позы были столь беззастенчивыми, а тела столь великолепны, что у меня перехватило дыхание. Некоторые из женщин показались мне вовсе не людьми, а существами иного сорта. Они излучали свет, которого я не видел прежде. В них таилась сила, пронзившая меня стрелами раз и навсегда. Я был покорён тем, что я увидел. И дело было не в элегантно расставленных стройных ногах, нет. Внезапно я обнаружил, что

женская природа – вовсе не то, о чём мы шептались с парнями в туалете, и не то, о чём сообщают сальные анекдоты.

Думаю, что причиной этого озарения был именно Юрвас. Он дал мне тот журнал и тем самым вывел женскую тему из тени непристойности.

Он хотел сблизиться со мной, стать моим другом, но этого, к сожалению, не получилось в те годы из-за моей загруженности в школе – я заканчивал десятый класс и готовился к поступлению в МГИМО. Времени на душевные разговоры не оставалось. Или я просто накрепко закрылся от родителей?

Как-то раз он увидел на моей руке написанное бритвой имя одной девочки. Я был влюблён и продавил бритвой кожу, вычерчивая её имя. Безболезненная процедура, но кровавая. На девочек производила впечатление.

Папа увидел мою руку, когда я спал (он думал, что я спал, но я-то видел сквозь приоткрытые глаза, как он склонился надо мной и покачал головой, глядя на мою руку). Впрочем, обсуждать мою мальчишескую глупость не стал – понимал что к чему. Иногда он всё-таки заговаривал со мной о женщинах, рассказывал что-то из своего прошлого, но всякий раз это получалось как-то обрывочно, скомкано, невнятно. Да и сам я стеснялся таких бесед. Я любил отца, но не видел в нём друга, с которым я мог поделиться тем, что лежало в глубине моего сердца.

Я был одиночка. Таким я и остался.

После высылки из Индии отец был сильно подавлен. Вероятно, он решил, что его карьера в разведке окончена. Но учёба вернула его в нормальное состояние. Он успокоился.

Юрвас был уверен, что время проведённое на курсах, было настоящим отдыхом. Я не знаю. Для меня его нахождение на УСО запомнилось тем, что в институте я познакомился с девочкой по имени Маша (её отец учился вместе с моим на УСО). Позже Маша вышла замуж за Мишу, который носил знаменитую фамилию Коллонтай и, как поговаривали, являлся родственником знаменитой Александры Михайловны Коллонтай. А ещё позже я обнаружил, что жена моего приятеля Володи (в школе он носил кличку Дуня) училась с этой Машей в одном классе. Оказалось, что мир неправдоподобно тесен.

***

Мы, дети чекистов, мало думали о наших родителях. Их работа казалась нам делом далёким и малоосязаемым.

Николай П был для меня дядей Колей. Он отменно играл на гитаре и даже дал мне несколько уроков (у меня была чешская

гитара с нейлоновыми струнами, и я тренькал на ней двумя-тремя аккордами). Дядя Коля всегда напоминал мне старшего из сыновей дона Корлеоне из фильма «Крёстный отец». Мне казалось, что он был копией Сантино: такой же чернявый, такой же статный, такой же сильный, такой же вспыльчивый. Правда, проявлений вспыльчивости дяди Коли сам я никогда не видел, но слышал о ней от его сына Сергея. Не знаю, был ли дядя Коля чересчур строг к своему сыну или сын его вёл себя слишком буйно и распущенно, но Серёге доставалось постоянно. После школы Сергей попал в тюрьму. Мне ничего не известно о причинах этого дела, но думаю, что он хорошенько приложил руку к чьей-то челюсти. Он отличался задиристостью и неумением контролировать свою силу. Помню, он однажды (задолго до тюрьмы) приехал к нам домой с молодой женой, и я увидел, что рука его перебинтована.

– Что стряслось, Серёга? – поинтересовался я у него, когда мой отец вышел из комнаты.

– В рожу одному идиоту сунул, – негромко пояснил он и тут же поспешил добавить: – Только ты своему отцу не говори, что я дрался, а то он моему обязательно расскажет…

Дядя Коля был тогда в Индии, далеко от сына. Но сын смертельно боялся отца.

Когда Сергей попал в тюрьму, дядя Коля сказал угрюмо:

– Видишь, Андрюха, как этот стервец карьеру мне испортил. Думает только о себе, если вообще думает, подлец!

В интернате я был знаком с Ванькой, который когда-то занимался боксом и по этой причине тоже беспрестанно встревал в какие-то стычки. Почти сразу после школы он угодил за решётку. Был у нас и Гена, постоянно глотавший какие-то таблетки и всё время куда-то пропадавший из Приюта. Тогда в обиходе редко можно было услышать слово «наркоман», воспитатели говорили, что Гена просто выпивал. Но от него не пахло вином. Возможно, он тоже схлопотал срок.

В тот вечер, когда он впервые появился в Приюте, мы смотрели в нашем кинотеатре фильм «Сто дней после детства». Помню, как Гена сказал, что с Таней Друбич, исполнявшей главную роль в той картине, он учился в одной школе. Мы все позавидовали ему, ибо девочка из кинофильма, украшенная пышным цветочным венком, была необыкновенно хороша. Много лет позже я повстречал Таню Друбич на «Мосфильме», работая там ассистентом режиссёра, а также нашёл гипсовые колонны, появлявшиеся в том фильме и брошенные рассыпаться под дождём, как и прочий использованный реквизит. Но я не познакомился с Таней, даже не подошёл к ней, как не подошёл и

к другим известным актёрам, с которыми сталкивался в коридорах киностудии. И Таня Друбич, и эти колонны, и валявшийся на «бетонке» (так называлась площадка с останками всевозможной бутафории) яйцевидный космический корабль из фильма «Кин-дза-дза», и гигантский колокол из «Бориса Годунова» – всё это вдруг стало для меня частью обыкновенного и очень скучного мира, с которым мне ни здороваться, ни сближаться не хотелось. Это был просто мир работы, мир нудный, малопривлекательный. Это не был мир творчества, хотя всюду сновали режиссёры, операторы, артисты. Это не был мир *моего* творчества, а потому окружавшие меня люди и предметы не имели для меня никакой ценности.

Но я отвлёкся…

В Приюте встречалось много выразительных личностей, драчливых, несдержанных, буйных, нервных. Что могли такие дети принести своим родителям, кроме нервотрёпки? Я и сам не был идеальным сыном.

Приезжая в Дели, я часто ходил в книжные магазины и время от времени воровал там книги. Воровал не потому, что у меня не было денег на покупку книг. Дело в том, что я воровал книги определённого профиля. Я был захлёстнут в конце школы сексуальным любопытством, и меня манили книги с эротической начинкой. Естественно, что о покупке тех книг с ведома родителей не могло быть речи, поэтому я крал их, быстренько прочитывал и выбрасывал, чтобы не держать дома. В те годы книжные магазины в Дели были чудесны: красочные альбомы по искусству, детективы, этнография, философия. Купить можно было всё. Но меня влекли вестерны и эротика, и я в первую очередь выискивал книжонки с дурманившими моё сознание обложками. Помню, попалась мне на глаза книга «Nudes That Never» о том, как двое влюблённых никак не могли заняться сексом, их всё время кто-то прерывал. До сих пор помню, как она была оформлена – голая девушка прикрывает причинное место соломенной шляпкой, украшенной красными цветочками. Мог ли я оставить ту книгу дома надолго? Нет! Я прочитал и выбросил её, как и другие книги эротического направления. Из англоязычной литературы на моей книжной полке задерживались только вестерны, не вызывавшие у моих родителей никаких вопросов.

Если бы меня схватили в магазине за руку, разразился бы страшный скандал. Думал ли я о последствиях? Не думал. Для меня не существовало будущего. Я жил сиюминутными порывами и желаниями.

Позже, учась в разведшколе, я вспоминал об этом воровстве с

улыбкой. Будучи пацаном, я проявил себя мелким воришкой, но в КАИ меня готовили к тому, чтобы в дальнейшем совершать серьёзные кражи, с государственным размахом: похищать секретные материалы из правительственных сейфов, угонять самолёты, сманивать людей.

Но кража всегда остаётся кражей, кем бы она ни совершалась. Ведь по сути воровство государственных документов ничем не отличается от воровства книг из книжных магазинов или библиотек. Мы берём то, что не принадлежит нам по праву. Хотя понятно, что разница существует. Каждое воровство имеет свой цвет. Работа разведчиков по добыванию информации окрашена в благородные тона по той единственной причине, что они достают сверхсекретные документы не для себя лично, а для своей страны. Впрочем, когда отчаявшийся безработный человек выходит ночью грабить кого-то, чтобы обеспечить свою семью хоть какими-то деньгами, он тоже совершает этот страшный поступок не ради себя, а ради своего потомства.

Что же способно оправдать такое преступление? И может ли преступление вообще быть оправдано, даже если оно совершается ради мира на нашей планете?

Продолжая разговор о детях, наносивших удары своим родителям, не могу не вспомнить Игоря Петрова.

Дело было так: Игорёк влюбился в Лену; его родители работали тогда в Хабаровске; родители, как это было принято в кругу чекистов и дипломатов, считали себя белой костью и относили людей иного круга к чужеродной среде, хотя сами зачастую не обладали ни достаточным благородством, ни широтой взглядов. Мои родители не были исключением и про каждую мою новую девушку твердили одно и то же:

– Кто у неё родители? Ты поразмысли хорошенько, какие у вас могут быть общие интересы? Как вы будете строить вашу семью? Вы с ней принадлежите к абсолютно разным мирам!

Можно подумать, что Юрвас принадлежал к потомственным дворянам и воспитывался лучшими гувернёрами Парижа, или что моя матушка вышла из княжеской фамилии и не общалась ни с кем, кроме придворных дам. Почему-то наши родители очень быстро стали считать себя «белой костью» и смотрели на людей «чужого» круга очень высокомерно…

История Игорька и Лены напоминала поэму о Ромео и Джульетте: молодым влюблённым не позволяли встречаться, и когда чаша их терпения переполнилась, Игорь решил сбежать со своей избранницей. Он улетел с Леной в Москву, ничего не сказав родителям.

Можно только догадываться о чувствах разведчика,

работающего на границе с Японией, когда у него исчезает сын. Разведчик склонен за невинной, но неожиданной встречей давнего знакомого, с которым не виделся лет десять, заподозрить возможный хитроумный ход иностранных спецслужб. А тут пропажа сына!

Через несколько дней Игорёк всё-таки позвонил в Хабаровск и сказал, что у него всё в порядке и что он женится на Лене. Когда я увидел Юрия Николаевича, отца Игоря, я поразился его выдержке. Он улыбался, будто пару дней назад не сходил с ума от исчезновения сына. Юрий Николаевич был невысок, широколиц – ничего особенного. Он опустился в кресло, бросил руки на подлокотники, откинул голову на спинку кресла и уснул. Я помню его усталые руки, покрытые рыжими волосами, помню его покрытую складками шею – тело обыкновенного человека… Он просидел минут пять-десять, вздрогнул и поднялся. Когда я спросил у Игоря, может ли человек так быстро привести себя в норму, Игорёк ответил: «Отец умеет взять себя в руки, умеет восстановить силы за минуту». При этом он не вспомнил, что в этот раз его отец вынужден был взять себя в руки из-за него, посеявшего хаос во всей семье и поставившего на голову не одного отца. «Умеет взять себя в руки…»

Мы, дети, доставляли нашим родителям массу неприятностей. Если бы мы догадывались о качестве их работы, мы бы старались вести себя иначе. Но мы ни о чём не подозревали. Для нас наши мамы и папы были просто мамами и папами, а не специалистами по секретным операциям, вербовкам, закладкам тайников.

Когда моя учёба в девятом классе скатилась на катастрофически низкий уровень, из Дели стремглав прилетела моя матушка. Я покинул интернат, навсегда расставшись с его вольготной жизнью, и был в мгновение ока запряжён в ненавистную мне упряжку школьного образования. Никогда воз знаний не казался мне столь тяжёлым, почти неподъёмным. Мне пришлось зубрить наизусть фразу за фразой, параграф за параграфом, страницу за страницей, чтобы не только сбросить все задолженности, но и превратиться из двоечника в твёрдого хорошиста, а затем и в отличника. Мне не разрешалось гулять с друзьями и слушать музыку. Каждый день после окончания занятий я обходил учителей и выстреливал в них вдолбленными в мою голову уроками. Затем я ехал прямо домой и снова садился за учебники.

Признаюсь, что без церберовского отношения ко мне матери я бы не выплыл из болота моих двоек и троек. А если бы я не выплыл, то я никогда не поступил бы ни в один институт. Мать

сумела-таки вернуть меня на дорогу, от которой однажды отвратила меня своими истериками. Это не значит, что я полюбил учёбу. Нет, учебный процесс сделался для меня почти ненавистным с раннего детства. Но я осознал, что через это надо пройти, чтобы в дальнейшем кое-что получилось. Возможно, самым весомым аргументом во всей этой истории был вопрос, который мне задала мать, буравя меня холодной сталью своего взгляда.

– Ты намерен учиться или хочешь отправиться в армию? Если ты полный дурак, то отправляйся бегать по окопам! Хочешь быть дураком – будь им!

Юрвас выразился по этому поводу деликатнее.

– Зачем тебе терять два года попусту? Отвыкнешь сидеть за учебниками, а после армии придётся снова приучать себя к этому. В институт всё равно надо поступать, ты уж поверь мне, школьных знаний не хватит ни на что. Но если же ты хочешь в армию, тогда ничего не поделаешь…

В армию я не хотел. Я был сыт по горло начальной военной подготовкой в школе. Я ненавидел и презирал нашего щуплого военрука, с упоением заставлявшего нас маршировать на заднем дворе школы. Помню, как однажды он устроил нам военные учения на пустыре и заставил всех ползти на брюхе через мусорные кучи. Когда я дополз до россыпей битых бутылок, я поднялся и хотел просто перешагнуть их, но военрук велел снова лечь и ползти. В результате я в нескольких местах разрезал ногу кусками стекла.

Мысль о том, что в армии таких военруков будет значительно больше, быстро придала мне сил.

Что касается учёбы в институте, то про это можно написать отдельную книгу, но сейчас я не буду касаться МГИМО.

***

Я уже был женат и работал в Министерстве внешней торговли, когда узнал, что Юрвас заболел. Он находился в Женеве.

Поначалу я стал замечать какие-то странности в отцовских письмах. Где-то слова были написаны неправильно, где-то падежи употреблялись не те. Я относил всё это на счёт нехватки времени – ну, торопится человек, вот и ляпает ошибку за ошибкой. Но однажды отец сообщил, что с ним что-то не так. Что именно, он не указал. Написал только: «Со мной что-то странное происходит».

Как-то раз я набрал номер их телефона и вдруг вместо

нормальной речи Юрваса услышал нечленораздельные фразы. Это было похоже на белиберду, которую несёт клоун, стремясь развеселить зрителей. Но Юрвас не был клоуном, и я не понял ровным счётом из его слов. Произнесённые им фразы не имели никакого смысла. Слова в них были насованы абы как. Но он взял трубку сам, значит, думал, что способен разговаривать.

Врачом в советском представительстве была жена резидента. Говорили, что по специализации она гинеколог. Что она могла понять в его болезни? Она заверила его, что для беспокойства нет причин и что головная боль у него – лишь осложнение после гриппа… Ещё через несколько дней Юрваса положили в больницу в Женеве и ничего не обнаружили, затем отправили в Москву. Уже на носилках. Уже в бессознательном состоянии.

И тут диагноз – опухоль.

После первой операции Юрвас быстро пришёл в норму, стал смеяться, разговаривать, шуметь. Он жаждал вернуться в Женеву и продолжить работу и поэтому всё время давил на врачей, чтобы ему написали нужную справку. Стремление вернуться к работе было каким-то слишком активным, словно он пытался удрать из-под присмотра докторов. Но спешил только он. Врачи не торопились.

Однажды мы, возвращаясь из гаража, попали с ним под дождь. Вода хлынула с неба внезапно, будто кто-то наверху открыл шлюзы и решил затопить Чертаново. Юрвас сбросил башмаки и остановился, наслаждаясь тяжёлыми каплями. Лужи вокруг нас пузырились.

– Как чудесно, Андрюха! – сказал отец. – Как давно я не стоял вот так под дождём!

И мне было радостно, что я мог находиться возле него. Я не догадывался, что его выздоровление было временным. Опухоль оказалась неизлечимой. Я даже подумать не смел о том, что вскоре Юрваса не станет, мысли такой не допускал. Мы были счастливы под дождём, отбросив в те минуты все тревоги.

Через месяц наступило ухудшение. Вторая операция оказалась неудачной, и Юрваса приковало к постели. Он худел день ото дня. Теперь не было сомнений в том, что о выздоровлении речь уже не шла. Медленно приближалась смерть.

Как-то раз он попросил меня о чём-то глазами, промычал что-то. Я не понял и стал выспрашивать, чего он хотел. Одно спросил, другое, уточнил… Он показывал глазами на коридор, на соседнюю комнату. Я взял его на руки и без труда – он был лёгок, как пушинка – перенёс его в другую комнату. Он указал глазами на шкаф. Я положил Юрваса на диван и открыл шкаф. Показывая ему то одну вещь, то другую, я в конце концов нашёл красивую

коробку с глиняной бутылкой виски.

– Ты хочешь выпить?

Он отрицательно покачал головой.

– Ты хочешь, чтобы мы выпили это?

Он кивнул. Я не осмелился сказать «выпили на твоих поминках», но я понял, что именно это Юрвас имел в виду.

Вскоре его забрали в госпиталь, где он скончался 24 декабря, не приходя в сознание.

Мне казалось, что я предал его, потому что не был рядом с ним в момент его смерти. Много раз в моём воображении появлялась картина больничной палаты (почему-то серой и дымной) и его одинокая кровать в углу. Меня душило чувство вины, хотя я вроде и не виноват ни в чём. Но ведь я жил и спокойно спал в те минуты, когда он умирал… Может ли кто-нибудь понять меня?

Вспоминая его мучительную болезнь, я не могу не упомянуть мою мать, ибо она была неотъемлемой частью тех удручающих дней. Она не отходила от прикованного к постели Юрваса ни на минуту. Её преданность достойна того, чтобы её воспели в стихах. Она была рядом с мужем на протяжении всех тех мрачных месяцев, поила его с ложечки, протирала его, пыталась угадывать его слова, разговаривая с ним, когда он уже не владел речью. Лучшей сиделки Юрвасу не найти было ни за какие деньги. Таково было поведение женщины, которая в течение долгих лет не умела найти с мужем общего языка! Этот общий язык – язык любви – обнаружился в последние месяцы его жизни! Откуда взялась в моей матушке эта верность, о которой я и не подозревал раньше? Или это что-то иное, чему я не знаю имени? Загадка изнурительной семейной жизни…

Примерно через год после смерти отца я, перелистывая одну из его телефонных книжек, нашёл страницу, где было написано: «Нина, Андрюша, Юля, прощайте…»

Эти слова он успел написать до второй операции, после которой стал неподвижен. Значит, он понимал, что болезнь не отстанет и что жить ему оставалось недолго. Эти слова поразили меня в самое сердце. Они прозвучали словно из потустороннего мира. Возможно, они произвели на меня даже более сильное впечатление, чем сама смерть отца.

Наступила тяжёлая полоса мрачнейшего настроения. Период моего чёрного алкоголизма.

***

– Готов ли ты делать из людей предателей? Ведь наша работа

направлена фактически на то, чтобы сделать из обычного человека изменника своей родины. Мы покупаем этих людей или убеждаем их работать на нас. В любом случае, это предательство. По крайней мере, граждане любой страны называются предателями и преследуются законом, если сотрудничают с иностранной разведкой…

Примерно такие слова я услышал от Шебаршина, когда пришёл к нему с решением пойти по стопам моего отца. Что-то похожее говорил мне Юрвас. Леонид Владимирович Шебаршин был уже руководителем внешней разведки, но я не знал об этом. Какая-то высокая должность – да, об этом знал, но руководитель *всей* советской разведки?!…

После смерти отца я не знал, куда себя деть. Меня разрывало отчаяние. Оказалось, что мой отец, с которым я виделся очень редко, был мне необходим. Он был воплощением силы и твёрдости, он был стеной, ограждавшей меня от многих трудностей. Он не успел стать мне другом, но успел сделаться чем-то гораздо более существенным, важным, фундаментальным. И вот эта фундаментальность исчезла в одночасье, ушла из-под ног, оставив меня висеть в невесомости.

Впервые я ощутил всю бессмысленность человеческого существования. Близкие люди, любимое дело – со всем этим рано или поздно придётся расстаться, всему настанет конец. Я не мог понять: зачем тогда это всё нужно, зачем надо стремиться к благосостоянию и душевному покою. Зачем карьера, зачем устремления? Куда ни глянь, всё заранее обречено на гибель, на всём лежит печать смерти. Заранее – это задолго до того, как появится то, чему предстоит умереть, эта печать уже поставлена и от неё не избавиться.

От Бога я был слишком далеко в те времена, чтобы принять мир таким, каков он есть. Мне казалось, что жизнь меня подло обманула. Мне требовались срочные перемены. И они пришли…

После долгих проверок, освидетельствований и собеседований я был зачислен в ПГУ КГБ и направлен на учёбу. Попав в КАИ (Краснознамённый институт имени Андропова), я соприкоснулся с людьми, некоторые из которых уже по пять-шесть лет работали в органах госбезопасности, правда, не в разведке. Они имели за плечами богатый опыт оперативной работы, и мне нравилось слушать их рассказы. Но в основном это были малообразованные люди, не знавшие ничего, кроме своей службы. До этого меня окружали офицеры совсем иного уровня, я вырос среди лучших представителей разведки: Юрвас, Леонид Шебаршин, Виктор Черкашин, Вячеслав Трубников, Александр Фадеев, Вячеслав Гургенов… Интеллигентные, внимательные,

чуткие, проницательные люди, которых я уважал безмерно. Среди моих сокурсников в КАИ таких не нашлось…

Когда нас отправили в Тулу, где располагался десантный учебный центр, многие из курсантов почувствовали себя не в своей тарелке, так как мы вынуждены были ходить все под лейтенантскими погонами, в то время как некоторые из «новобранцев» дослужились уже до майора. Знаю, что один из моих сокурсников неоднократно ходил в Турцию и приносил на своих плечах оттуда пленных; он покорно слушал приказы руководившего нами капитана (часть выработанной привычки – не проявлять своих эмоций), но во время перекуров он иногда цедил сквозь зубы: «Не понимаю, что я тут делаю. Заставляют нас заниматься полной чепухой…»

Приставленный к нам капитан (из десантников) однажды не выдержал во время парашютной подготовки и заговорил.

– Мне приказано не спрашивать вас, кто вы, откуда вы. Понимаю, что вы здесь не просто так. Но мне не разрешили расспрашивать никого из вас. Я ничего не знаю о вас, хотя командир должен знать своих подчинённых. Что ж, это не моё дело. Я лишь должен научить вас тому, что умею делать сам… Я служил в Афганистане, был ранен неоднократно, поэтому я не хочу, чтобы вы испытали то, что испытал я… Вижу, что некоторые из вас хорошо владеют оружием, стало быть, прошли военную подготовку. Но всё же прислушайтесь к моим советам, у нас разный опыт, и никто не знает, что ждёт впереди…

Во время последних ночных учений я умудрился сломать руку. Произошло это как-то до смешного нелепо, без серьёзных причин. Мы забрались в овражек, из которого не сразу нашли выход наверх, и я просто поскользнулся, перешагивая через узенький ручеёк. Оступился и упал на правую руку. Если бы я, поднимаясь, опёрся на левую руку, то не сразу заметил бы, что повредил правую (настолько я был разгорячён взбудоражен долгим переходом). Но я подставил под себя правую руку, и она безвольно ушла куда-то вбок, отказываясь повиноваться. Кто-то помог мне подняться, выдернув меня за воротник из лужи. Через час мы попали под обстрел и вынуждены были спешно отступить. Только тут, когда пришлось быстро бежать, я почувствовал, что со мной что-то неладно, что я слишком устал. Рука сильно ныла, шевелить ею не получалось, и я заткнул её за лямку рюкзака. Наш капитан, когда ему шепнули, что я повредил руку, подозвал меня к себе и опытным глазам сразу оценил: рука распухла вдвое, запястье вылезло громадным пузырём и посинело.

– Пошевелите пальцами. Так, понятно… Для вас война закончена, – сказал он и послал меня с одним из опытных ребят к

пункту, где должны были находиться наблюдатели.

До тульского медсанбата мы долго тряслись на забрызганном грязью автомобиле, который дребезжал всеми своими составными частями. Наконец добрались до места. Сделали рентген. Огласили результат – перелом лучевой кости. Налепили гипс.

А на следующий день нам внезапно объявили, что нас возвращают в Москву! Какая радость и какая досада одновременно! Военные игрища завершились успешно, но без меня. «Для вас война закончилась». В случае настоящей боевой операции никто не снял бы меня вот так запросто с задания и не отправил бы в укромный уголок.

Лестно одно: ребята, увидев на мне гипс, выразили уважение моему поведению ночью. Должно быть, все решили поначалу, что у меня лишь вывих или сильный ушиб; вероятно, обычно при переломах пострадавшие часто показывают меньше выдержки. Впрочем, в те годы я был гораздо терпеливее, выносливее, чем сейчас.

Когда же я увольнялся, в отделе кадров мне как бы невзначай напомнили о том, что я был единственный из всех, кто сломал руку на учениях.

– И что? – не понял я.

– Ничего. Просто это весьма странно. Один из всех…

Причин для моего увольнения было предостаточно. Во-первых, я не желал тратить на учёбу целых три года. Я боялся семинаров, боялся экзаменов. За годы учёбы в школе и в МГИМО у меня выработался стойкий отрицательный рефлекс ко всему, что было связано с процессом обучения. Думаю, что немаловажную роль в этом сыграла моя истеричная матушка, отчитывавшая меня за всякий «прокол». Возможно, именно это подорвало мою веру в собственные силы. Я не умел выступать на семинарах, а на экзаменах страх превращал меня в полного тупицу. Однажды на меня напала икота, с которой я не мог справиться в течение часа. Экзамены были для меня страшнейшим испытанием, потому что я отчитывался за то, что мне было абсолютно неинтересно. Мне никогда не нравилось говорить о том, что меня не интересовало, а подавляющее число предметов в МГИМО были мне попросту безразличны. Кто-то умел легко пересказывать заученные параграфы, а я – нет. Не видел в этом смысла… И вот снова пришла учёба. Теперь уже в КАИ. Я с удовольствием просиживал в библиотеке, читал секретные материалы, занимался греческим языком, фотоделом и прочими специальными дисциплинами. Но когда дело доходило до семинара, меня охватывала паника.

Второй причиной была партия. Я не собирался вступать в

партию, а сотрудник советской разведки обязан был быть членом КПСС. О членстве в партии я не помышлял, когда закончил МГИМО и попал в «Медэкспорт». Я просто работал – честно, дисциплинированно, результативно. Мне не нужна была партия. Сказать об этом вслух в те годы было чуть ли не преступлением. А к истории КПСС и политэкономии, считавшимися первоосновными в любом политическом ВУЗе, у меня была стойкая нелюбовь. Нет предметов более далёких от меня, чем эти два. Но и об этом нельзя было сказать.

В рапорте об увольнении я написал, что учёба у меня идёт плохо, а я считаю невозможным для себя вводить в заблуждение руководство, поэтому прошу отчислить меня из КАИ. Руководитель нашей учебной группы полковник Киселёв отнёсся ко мне с пониманием.

– Я знаю, почему вы пошли к нам, – сказал он, вызвав меня в свой кабинет. – Вы очень любили и очень уважали вашего отца. Вы руководствовались желанием продолжить его дело. Это похвально, но не в разведке. Всё-таки здесь другие принципы. Одного внутреннего стремления мало. И я считаю, что вы поступаете сейчас честно, честно перед нами и честно перед собой. Можете не ходить больше на лекции…

Он говорил долго, и я не услышал ничего обидного от него в мой адрес, хотя приготовился к словам очень жёстким. Мне пришлось столкнуться с некоторыми офицерами из числа преподавателей, которые проявили себя солдафонами, а не тонкими сотрудниками разведки. Помню, как в Туле один подполковник по прозвищу Сомоса, пристал ко мне, крайне недовольный моими бакенбардами.

– Завтра к утренней поверке укоротите их на сантиметр.

Я был возмущён, но подчинился. Однако на следующий день Сомоса потребовал сбрить их ещё на сантиметр, хотя дальше укорачивать было некуда. Чем ему не угодили мои бакенбарды? Чем ему не угодила моя физиономия? Допускаю, что такого рода поведение было провокационным – система мелких унижений, через которую мы, курсанты, обязаны были пройти, приучившись ни на что не обращать внимания. Это лишь моё предположение, но оно вполне оправдано. Ведь нас заставляли проходить через всевозможные тесты; поначалу это случалось чуть ли не каждые два дня, после чего нас вызывали на личную беседу и произносили что-нибудь такое: «Ну что же вы так плохо? Как вы сами можете объяснить это?» И ни слова о том, что именно плохо и что именно надо объяснить. Просто укоризненный взгляд, сурово сжатые губы, недовольно-сочувственное выражение лица. Это был психологический обстрел. Будь я не двадцатипятилетним

парнем, а чуть взрослее, я бы наплевал на эту шелуху. Но меня переполняли гордыня и нетерпимость ко многим вещам. Эмоции захлёстывали меня. Впрочем, будь я взрослее, я бы никогда не пошёл в эту Систему. Я – одиночка, но не солдат, а художник, хотя мне и нравилось называть себя воином.

***

«В нормальное мирное время выживает бюрократ. Нельзя позволить себе быть выдающимся. Герои нужны только во время войн и революций. В другое время они должны "перевоспитаться" или погибнуть».

«Я не верю, что кого-то можно перевоспитать. Тем более не верю в перевоспитание других. Нужно оставаться самим собой, верить только в себя, следовать выбранной идее, даже если другие считают тебя безумцем».

Мог ли мой отец позволить себе оставаться самим собой? Думаю, что не мог, как не могли и другие разведчики. Разведчик всегда носит на себе маску.

«Я люблю освещённое солнцем море, лес, голубое небо, поля, необозримые просторы, серебрящиеся в лучах солнца ручьи, луну весной в разрывах облаков, солнечное утро. Значит, я люблю солнце. Но не люблю закат. А больше всего я люблю Андрея. Это моё солнышко».

Хорошо, что после отца осталась тетрадь. Жаль, что там слишком мало записей. Жаль, что любовь, о которой там написано и которую Юрвас пытался всячески проявить, я не сумел по-настоящему увидеть и прочувствовать. Жаль, что я не смог ответить на неё должным образом. В детстве ко многому остаёшься слеп и глух, хотя детское восприятие острее. Теперь же мне остаётся только перечитывать эту фразу, притаившуюся среди прочих чернильных строчек в его записной книге. Этих строчек было не много, книга осталась почти пустой. Почему? Вероятно, Юрвас не успевал заниматься дневником, как не успевал заниматься мной. Случайные беседы – это так мало! И потому я задаюсь вопросом: должен ли разведчик иметь семью? Если должен, то я не понимаю причины. У него нет на это времени. Он не успевает радоваться своей семье, не успевает делить с семьёй маленькие житейские радости. А ведь это так важно – делить с кем-то радость.

Вспомнился мне один случай. Юрвас доложен был прилететь из Женевы в Москву по какому-то делу в Центр. Приехав в Шереметьево, мы (меня привезли его подчинённые) узнали, что самолёт задерживается. На час, на два, на много… Чекисты

прозвонились на работу и по своим каналам узнали, что в швейцарском аэропорту объявили, что в том самолёте, на котором предстояло лететь моему отцу, было обнаружено взрывное устройство. Или не обнаружено, но кто-то предупредил, что оно якобы заложено. Отвратительное слово «якобы»… Мы ждали. Все ждали. Ничего не нашли. Самолёт в конце концов поднялся в воздух. Все опять ждали. В тот раз всё обошлось благополучно. Но ожидание было мучительным. Бомба не переставала тикать у меня в голове всю ночь.

Тревога и ожидание, которым чекисты подвергают своих близких, ужасны. Всякий раз отправляясь на задание, они обрекают жену и детей на это жуткое ожидание, ибо за рубежом практически каждый выезд разведчика в город связан со служебным заданием. Думаю, что никто из людей не вправе терзать свою семью таким образом. Если ты выбрал путь воина, то ты должен быть одинок, видимый это фронт или невидимый.

Однажды мать, вспоминая жизнь в Женеве, сказала: «Это был настоящий кошмар! Юра постоянно приносил в дом какие-то секретные документы. Я вздрагивала от каждого шороха за дверью: не полиция ли к нам, не схватят ли нас с этими бумагами на лестнице или в лифте? Ужас! А когда Юра уезжал, никогда нельзя было с уверенность сказать, что он вернётся домой живой и невредимый. Дипломатический паспорт не всегда гарантирует спокойствие. Там всё могло случиться»…

Сотрудники спецслужб – люди особые. К ним можно относиться лишь как к сотрудникам спецслужб. Они не знают, что такое откровенность, искренние чувства. Когда они смеются, они всегда прислушиваются к смеху других, они не позволяют себе целиком отдаться своим чувствам. Они приучают себя не терзаться муками совести, не чувствовать чужую боль… вообще ничего не чувствовать. Они приспособлены к тому, чтобы мыслить и анализировать, будучи всегда готовыми к любому подвоху. В них нет доверия ни к кому, зато они всегда готовы подцепить вас на крючок и превратить в своего агента. И в этом нет ничего личного. Такова суть их работы.

Я говорю об этом потому, что уже через год после смерти Юрваса, никто из его сослуживцев не звонил нам, не спрашивал даже из вежливости, нужна ли какая-нибудь помощь. Моя мать осталась без пенсии, но никого не интересовало, как складывалась её жизнь. Зарабатывая на пенсию, она устроилась посудомойкой в корейский ресторан, куда она отправлялась в пять утра, затем работала на почте, уже возле дома.

Она долго и тяжело болела туберкулёзом, никак не могла вылезти из него. Возможно, причиной болезни стала махорка,

которую мама бешено курила после смерти Юрваса. Много лет ушло на борьбу с туберкулёзом, но врачи в усердии своём сожгли ей половину лёгкого. Справившись с одной болезнью, мама вскоре получила другую. Сейчас она носит в себе рак, его обнаружили уже на третьей стадии. По какой-то необъяснимой причине наблюдавшие её врачи не направили на операцию, предписав пройти только курс облучения. Но через год медики признали, что опухоль продолжает увеличиваться и дали-таки добро на операцию. Судьба, на которую моя мать всегда сетовала, называя себя невезучей, решила, что упрёки не должны быть безосновательными, и обрушила на неё всю мощь настоящего невезения. После удачной операции маму выписали, но уже на следующий день шов разошёлся, в открытой ране началось нагноение. Машина «скорой помощи» отвезла её обратно в больницу, однако в приёмном покое она услышала, что мест нет. Её отправили домой своим ходом, даже не обработав открытую рану, тянувшуюся от середины груди почти до лопатки! Через день хирург в районной поликлинике зашил шов, но неудачно. В течение месяца рана не заживала, и маму опять направили в хорошо знакомую ей больницу…

Можно сказать, что это отступление не имеет отношения к основной линии моих воспоминаний. Но так уж получается, что память полна мельчайших деталей, разнообразных событий, накладывающихся друг на друга множеством слоёв.

Моя матушка жила одиноко после кончины Юрваса. Он умер, и внезапно выяснилось, что друзей у него не было. По крайней мере, не нашлось таких, которые поддержали бы семью ушедшего из жизни друга. Поначалу я никак не мог понять этого, отказывался верить в то, что окружавшие меня люди не могли найти времени хотя бы для формального телефонного звонка в годовщину смерти Юрваса. Я звонил их, приглашал, а они только спрашивали: «Неужели уже год? Подумать только, как время летит»… Сейчас это не удивляет меня. В разведке редко встречаются друзья, чаще – просто коллеги. Разведка – не воинское братство, а система поиска и добычи информации. Там всё подчинено исключительно этому поиску. Когда уж тут найти время для дружбы? Где уж тут по-настоящему любить и думать о семье, тем более о чужой?

Впрочем, говоря о друзьях, я не совсем точен. Есть два человека, которых я не могу не упомянуть.

Во-первых, Валерий Трифонович Буренков. Он часто встречался со мной, старался помочь, относился ко мне вполне по-товарищески, никогда не поучал свысока. Было в нём нечто, напоминавшее мне моего отца, но что – не знаю. Он работал в

разных странах, прошёл и через военные действия, в Афганистане сильно повредил спину при взрыве. Уйдя на пенсию, он не превратился в жалкого старикашку, которого ничто не интересует; нет он продолжает активно трудиться, хотя его работа не имеет теперь никакого отношения к спецслужбам. Приятно осознавать, что я знаком с этим мужественным человеком – разведчиком, на долю которого выпало немало тягот. До сих пор он ходит 24 декабря – день смерти Юрваса – на кладбище, чтобы постоять с непокрытой головой у могилы товарища.

Во-вторых, у Юрваса был со времён Индии очень хороший друг – Леонид Владимирович Шебаршин. В Дели они любили посидеть вместе, послушать музыку, выпить холодного пива, иногда выезжали на охоту, где тоже больше наслаждались разговорами и природой, чем стреляли по уткам. Однажды, когда Юрвас уже был неподвижен, Леонид Владимирович приехал к нам и спросил у моего отца, кивнув на меня: «Юра, может, Андрея к нам взять?» Отец отрицательно покачал головой… Шебаршин был единственный, кто десять лет подряд появлялся в нашем доме 24 декабря. Мы устраивались на кухне и сидели не один час за бутылкой водки, вспоминая прошлое и размышляя о настоящем. Мне приятно, что он приходил в наш дом. С 1989 года Шебаршин возглавлял советскую разведку и завоевал среди коллег репутацию высочайшего профессионала. Его уволили из КГБ сразу после ГКЧП, но он продолжал работать, создав собственную фирму «специального» направления. От него я слышал о моём отце только добрые слова. Но всё же, вспоминая Юрваса, мы всегда говорили не о разведчике, а просто о человеке. Человек всегда важнее профессии. Не знаю, что сближало их…

Мы часто встречались в Шебаршиным после смерти Юрваса. Леонид Владимирович казался мне страшно одиноким. Он был сух в общении и скрытен, мне никогда не удавалось вывести его на откровенный разговор, касающийся разведки. Профессия выработала в нём чрезмерную подозрительность. Возможно, мой отец был единственный человек, с которым он позволял себе разговаривать предельно доверительно, поэтому на титульном листе книги «И жизни мелочные сны» он написал мне ровным почерком: «Дорогой Андрей! На эту книжечку меня вдохновила во многом память о моём дорогом Юрии Васильевиче Нефёдове»…

Время мчится стремительно, набирает скорость в геометрической прогрессии. Сегодня у меня уже не получается вспомнить то, что ещё вчера казалось незыблемой основой памяти. Я бродил по пространству воспоминаний о событиях мой юности, как заключённый по прогулочному дворику. Не было

сомнений, что я никогда не выберусь оттуда. Я настолько сжился с моим прошлым, что не мог представить себя без этих воспоминаний. Время от времени я удалялся немного, но никогда не терял из виду ту огороженную территорию памяти, без которой не мог жить. Я уходил от воспоминаний, но легко возвращался к ним, перебирая мельчайшие детали, наслаждаясь их присутствием в моей жизни. Память безмерна, и она делала мою жизнь такой же безмерной.

Но вот однажды я заметил, что ушёл слишком далеко. Попытавшись вернуться в то пространство, где меня всегда ожидало прошлое, я с удивлением обнаружил, что не могу найти дорогу туда. Время обмануло. Оно побежало с такой скоростью, что я не заметил его и ушёл слишком далеко. Возврата нет…

Первые стоки «Эона памяти» я написал более десяти лет назад и за четыре месяца завершил повесть. Всё возникало передо мной – живое, объёмное, настоящее, болезненное. Я успел записать главное. Затем стал добавлять кое-что, так как происходили новые события, которые развязывали некоторые узлы прошлого. Сегодня я не смог бы вспомнить того, что было *тогда*, потому что сегодня во мне нет ничего из тех дней. Они ушли, я ушёл… Значит, я успел сделать кое-что, хотя бы самую малость – оставить искренний рассказ о былом тем людям, кому это может зачем-то понадобиться.

Каждый человек обязан быть свидетелем времени, каждый обязан искренне делиться своей жизнью с окружающим миром, чтобы мир мог понять нас, а мы могли понять мир.

Я много раз пытался поставить точку в этих воспоминаниях, но никак не мог подобрать подходящих слов. И вот я нашёл нужное, перечитывая «Жизнь Арсеньева». Слова и чувства Ивана Бунина удивительным образом совпали с моими, поэтому я ставлю их сюда и тем самым подвожу окончательный итог задуманным воспоминаниям о жизнелюбивом Юрвасе: «Когда я вспоминаю отца, всегда чувствую раскаяние – всё кажется, что недостаточно ценил и любил его. Всякий раз чувствую вину, что слишком мало знаю его жизнь, особенно молодость – слишком мало заботился узнавать её, когда можно было! И всё стараюсь и не могу понять полностью, что он был за человек, – человек совсем особого века и особого племени, удивительный какой-то разнообразной талантливостью всей своей натуры, живого сердца и быстрого ума, всё понимавших, всё схватывавших с одного намёка, соединявший в себе душевную прямоту и душевную сокровенность, наружную простоту характера и внутреннюю сложность его, трезвую зоркость глаза и певчую романтичность сердца»…

Апрель-август 2001
Декабрь 2011

ПРО ЛЮБУ УРИЦКУЮ

С Любой Урицкой меня познакомил Александр Шеко, а его привела откуда-то моя тёща, которая обладала талантом знакомиться с необыкновенными людьми, которые в свою очередь знакомили нас ещё с кем-то…

Если начинать распутывать клубок человек-человек-кто-когда-откуда, то обнаруживаются тысячи любопытных картин и жизнь открывается в таком неожиданном виде, в таких деталях, что сравнить её можно только со сложнейшей агентурной сетью, созданной не спецслужбами, а неведомыми человеку силами. Мы все играем в жизни друг друга важную роль, но никто не знает наверняка, какая роль ему отведена. Иногда мы просто приходим и рассказываем что-то, а наш слушатель (может, даже невольный, случайный) из всего разговора вычленяет одну-единственную фразу, и эта фраза постепенно совершает переворот в его сознании. А мы просто говорили, просто делились впечатлениями о чём-то незначительном…

Мы были молоды – моя жена и я – и смотрели на мир ненасытными глазами. Советская идеология ограничивает не меньше и не больше, чем любая другая жёсткая система, структурирующая нравственные и моральные догмы, и нам хотелось заглянуть за пределы этих границ. Картины Александра Шеко легко сорвали засовы с запертых ворот общепринятой живописи и впустили нас в пространство абсолютно свободного изобразительного искусства. Рассказывая о своём творческом пути, Саша знакомил нас с друзьями. Не мог он не познакомить нас и с бывшей своей женой.

Несколько раз он упоминал в разговорах тот день, когда увидел Любу впервые, и всякий раз в его голосе звучали удивление и восторг. Он работал на «Мосфильме» художником-декоратором и по делам зашёл однажды в фотоцех. Там на стене висел женский портрет – вытянутое лицо, глубокие большие глаза, длинные распущенные волосы. Странная фотография, чуть искажённая широкоугольным объективом. «Кто это сделал? Кто фотографировал?» – воскликнул Шеко, и через несколько секунд из дверей выскочила на его голос Люба Урицкая. «Это Зойка, её фотографировала я», – крикнула она.

Трудно говорить о внешности женщины, когда в ней нет ничего от привычного понятия «красота». И трудно понять, что может привлечь внимание молодого мужчины к женщине, у которой непропорционально сложена фигура, очень короткая шея, длинное лицо с тонкими губами и огромными глазищами…

Впрочем, в ту минуту зародились отношения не мужчины и женщины, а двух гениев, хотя один гений обитал в мужской оболочке, а другой нашёл пристанище в женской. Словом, две эти души нашли друг друга.

Когда Саша повёл нас к Любе, мы не догадывались, кого и что предстояло увидеть. Мы вошли в старый дом, приткнувшийся окнами к соседнему дому. Вошли в старую квартиру. Увидели Любу – живую, маленькую, громкоголосую, с цепкими глазами. Она провела нас в белую комнату, где на одной стене висели синие картины Шеко, а на противоположной красовались большие чёрно-белые работы Любы. В соседней комнатке, служившей когда-то, видимо, кладовкой, спал грудной ребёнок.

– Можно говорить громко, мы ей не мешаем, – успокоила Люба.

Фотографии меня ошеломили – жёсткие, контрастные, почти без полутонов. Любой профессионал «классической школы» раскритиковал бы их в пух и прах, обвинив в пересветке и всяких иных огрехах. На самом деле в них не было брака, они были ясные, тонкие, детальные. Чернота была их сутью. Белизна – их оживляющим инструментом.

Потом на стол легли коробки и конверты с фотографиями меньшего формата. Мы смотрели, перебирали их, иногда я подносил их близко-близко к глазам, чтобы понять, как они сделаны, и Люба начинала смеяться: «Кто же так фотографии смотрит!», но я-то знал, что мне нужно именно так, а не иначе, потому что я разгадывал секрет. Но не разгадал.

– Ну что? – спросила Люба нетерпеливо, не слыша от нас отзывов.

– А разве можно что-то сказать? – растерялись мы, потому что впечатление от её работ было таким огромным, что оно лишило нас дара речи. – Надо переварить.

– Ну переваривайте, – и Люба принесла чай.

Они жили бедно, роскоши не знали никогда. Их питало творчество. О другом они и не думали. Сначала всё шло хорошо, но потом наметилось расслоение их совместного внутреннего мира. Конкретнее не могу сказать. Они разошлись, но остались друзьями. Саша перебрался к маме, Люба осталась в этой квартире, наполненной духом былого.

На одной из фотографий, висевших у Любы на стене, был запечатлён Элем Климов, режиссёр непростой судьбы, но мне известный в то время лишь по картинам «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещён» и «Спорт, спорт, спорт», которые я в силу обстоятельств знал почти наизусть и мог цитировать с любого места. Эта фотография (где он скрестил руки на груди)

очень известна и в последнее время её бессовестно используют в документальных фильмах, даже не упоминая имени Урицкой. Также почти редко упоминается Люба, когда публикуется известнейший снимок Елены Соловей, растиражированный в картине Михалкова «Раба любви». В действительности фотография сделана в качестве фотопробы Соловей для фильма Рустама Хамдамова.

В Любиной коробке с фотографиями хранились несколько фотоснимков со съёмок запрещённого к показу фильма «Агония» про Гришку Распутина: потрясающие по силе кадры, где императрица припала головой к бронзовой спинке кровати и портрет Распутина-Петренко. Кстати, сама Люба мелькнула на экране в сцене гуляния в ресторане, она сидела на полу среди цыган.

Личность Распутина меня в то время сильно интересовала, особенно после публикации журнальной версии романа Валентина Пикуля «У последней черты». Исходя из рассказов Любы, я был уверен, что «Агония» показала последние дни Распутина почти документально. Да и про сцены бани с голыми бабами много был наслышан. Мог ли я предполагать, что буду однажды не только здороваться с Элемом Германовичем за руку, но сидеть в его кабинете на «Мосфильме», а он будет уговаривать меня сниматься в его фильме?

Дело было так. После долгого простоя Климов запустился с фильмом «Иди и смотри». Люба, увидев мою жену, решила, что столь красивая девушка не имеет права оставаться вне поля зрения кинокамеры, повела нас к Элему Климову. То был мой первый визит на «Мосфильм» и первое соприкосновение с настоящим кинорежиссёром. Обстановка в его кабинете была спокойная, почти умиротворяющая. Ни я, ни моя жена ничуть не нервничали, поскольку не претендовали ни на какую роль и вообще не собирались сниматься. Климов неторопливо рассказывал о будущем фильме, и было приятно слушать его. У него был красивый голос. А потом Ю вдруг задала ему вопрос: «Вы любите вестерны?» Он улыбнулся и ответил: «Нет, я люблю остерны». И посмотрел на меня. «Не хотите сняться у меня, Андрей? Не хотите попробовать себя в кино?» Я решительно отказался, довольно нагло заявив, что готов попробовать себя в качестве оператора. «Нет, оператор у меня есть», – покачал головой Элем Германович.

В то время я бредил вестернами и мастерил своё собственное кино – со стрельбой, драками и откровенными любовными сценами. Я видел себя кем-то вроде Клинта Иствуда – с небритым подбородком и с небрежно зажатым в зубах огрызком потухшей

сигары. Понятно, что выныривать из мира шляп и револьверов ради фильма о белорусских партизанах мне не хотелось. «Вы всё-таки подумайте», – мягко настаивал Климов, и я обещал подумать, хотя твёрдо знал, что сниматься не стану. Сегодня я даже не представляю, почему он предложил мне пробоваться, потому что на главную роль я никак не подходил (если исходить из того, что он взял Кравченко), а Климов говорил со мной о главной роли. Когда мы собрались уходить, ассистент по актёрам просила подождать немного. Через пару минут она вышла и сказала Ю, что Климов хочет её на роль немки. О какой немке шла речь, мы не понимали. Ю не хотела играть, но Климов уговорил её сделать фотопробы. Вот тогда мы впервые попали в фотоцех, где Люба познакомилась с Сашей Шеко.

Так я прикоснулся к миру крупнейшего советского режиссёра, так я упустил мою возможную актёрскую судьбу, отказавшись ухватиться за хвост Птицы Счастья.

Второе моё появление на «Мосфильме» опять связано с Любой: она пригласила меня на закрытый просмотр фильма Иоселиани «Фавориты Луны». Впечатление от «Фаворитов» было сильным. Не потрясение, но очень глубокий след, в который я всматривался ещё долго-долго.

Люба умела удивлять. Нет ни одного человека, ни одной книги, с которыми она свела меня случайно. Всё имело глубокий смысл и своё развитие, особенно книги. Люба читала в основном эзотерическую литературу. Запрещённый в СССР Раджнеш ворвался в мою жизнь, как джин, выпущенный из Любиной квартиры. Первая его книга, попавшая в мои руки, называлась «Я – врата»; она привела меня в бешенство. Никак не мог я согласиться с логикой этого таинственного индийца. Он ломал всё моё представление о жизни, он выворачивал меня наизнанку, и я торопился к Любе, чтобы выплеснуть ей моё возмущение и призвать к ответу. Она пыталась объяснять, но безрезультатно. Раджнеша мог объяснить только Раджнеш. Требовалось время…

Потом я ушёл из Внешторга и разведшколы, сойдя с гарантированно-гладкой дороги, и растерянно остановился, не понимая, как жить дальше. Поиски творческой работы ничего не дали. Такой работы попросту не существовало. Для меня не существовало, потому что я хотел делать только Своё, а страна не желала, чтобы кто-то делал Своё. Это разрешалось только тем, у кого за спиной были соответствующие папы, мамы или очень хорошие друзья в высоких партийных креслах.

И тут объявилась Люба Урицкая. Она числилась в то время фотографом в Московском Хореографическом Училище, но ушла в декретный отпуск. «Иди в отдел кадров, скажи, что я направила

тебя. Должны взять», – посоветовала она. И меня взяли на ставку лаборанта. Платили девяносто рублей. После двухсот пятидесяти рублей за лейтенантские погоны я почувствовал себя почти нищим, но – счастливым нищим, свободным. Что такое работа фотографа в МАХУ? Сплошное удовольствие, потому что работа обрушивалась со всей силой только в период экзаменов. Всё остальное время я был отдан себе.

Устроив меня на работу, Люба посвятила меня в свои алхимические тайны, а их оказалось много. И важнейшей из них был её собственный рецепт проявителя. Овладев им, я перескочил с любительского уровня на ступень хорошо вооружённого художника. Впрочем, вспоминать об этом сейчас, в век цифровых технологий, нет смысла…

Прошло несколько лет, и Люба собралась в Израиль. Она давно вынашивала планы, но мне всё казалось, что это только разговоры. И всё же она уехала. Мы мало переписывались, несколько раз разговаривали по телефону.

Так закончилась её жизнь в мире фотографий. Она иногда берёт в руки аппарат, но снимки получаются «домашними», для семейного альбома. А ведь были портреты, ставшие хрестоматийными – Елена Соловей, Лариса Шепитько, Элем Климов… Много лиц, много натюрмортов, много всего…

ПРО САШУ ШЕКО

Бородатый, с приглаженными волосами, с мягким взглядом, Александр Шеко удивил меня в первую же нашу встречу. Он достал рисунки, и я обомлел, потому что таких рисунков не бывает. Казалось на бумагу упала тень каких-то далёких озёр и холмов, тень изогнувшейся сосновой ветви, тень православного храма, тень Валаама.

Где с ним познакомилась моя тёща, понятия не имею. Так или иначе, но это она привела его в дом, расхваливая без устали. Слова оказались бесполезны, чтобы передать суть того, что делал Шеко. Он делал чудо.

Мы быстро подружились. Для меня и моей жены он стал просто Саша. Разница в возрасте не мешала нашему общению, хотя Саша Шеко стоял для меня на недосягаемой высоте. Всё, что он рассказывал, было важно и плотно укладывалось кирпичиками в фундамент моего ещё не сложившегося мировоззрения.

В то время ещё продолжал функционировать Горком графиков, располагавшийся на Малой Грузинской улице рядом с заколоченным протестантским храмом, обнесённым грязным забором. Ещё тот дом был известен тем, что там жил Владимир Высоцкий. Там, в Горкоме, проходили самые интересные художественные выставки. Только там можно было увидеть картины знаменитой Двадцатки. Ни я, ни моя Ю не знали ничего о Горкоме и скандальной Двадцатке. Но к нам пришёл Саша Шеко и в прямом смысле слова принёс нам свет из мира художников.

Однажды он повёл нас знакомиться с Любой Урицкой, его бывшей женой. Он сказал, что мы должны обязательно увидеть её фотографии. Неподалёку от Сухаревской (в то время Колхозной) площади мы свернули в крохотный переулок, затем нырнули во дворик и прошли в подъезд старого кирпичного дома. В квартире нас встретила Люба Урицкая, бывшая жена Саши. Тёмный коридор вёл в белую комнату: стены её были оклеены белой бумагой и потому служили замечательным фоном для экспозиции. Там была настоящая выставка. На стене справа от двери висели огромные чёрно-белые фотографии Любы Урицкой, а не противоположной располагались картины Саши Шеко (насколько помню, все из так называемого синего цикла).

– Это космический цикл, – объяснил Саша. – Теперь уж я не работаю в этой технике. Вы видели, какие тонкие вещи я сейчас рисую, почти прозрачные.

К моменту знакомства с нами Саша успел сменить несколько стилей. Ломаные авангардные формы остались позади, и ничего

общего уже не было между художником, с которым мы познакомились, и тем Шеко, которым он был в молодости. Много позже он показал мне по секрету коробку с рисунками, спрятанную подальше от посторонних глаз. Тонкая жёсткая графика изображала обнажённые человеческие тела. Это был неизвестный широкой публике Шеко, который мне очень понравился. В то время я тяготел к чётко прорисованным линиям. Саша подарил мне один из тех рисунков, он хранится у меня и сейчас.

На стене перед нами висели полотна, которые мы не могли сравнить ни с чем, виденным ранее. Мощные, светившиеся белыми лучами и поглощавшие густой синевой, они казались бесконечными, хотя самая большая из них («Звезда») не превышала метра в длину и ширину, а самая маленькая («Пирамида») едва ли была более двадцати сантиметров. Эти картины втягивали в себя, каким-то непостижимым образом расслаивая пространство и поглощая зрителя в свои недра.

– Когда мы поселились здесь, – рассказывал Саша, – и я каждый день видел в окне перед собой кирпичную стену, меня потянуло вверх, в космос. Посмотрите в окно! Ну как тут жить с таким видом!

Стена дома, стоявшего в двух метрах напротив окна, отгораживала весь мир. От земли до неба – кирпич. Для человека, обожавшего просторы, такой вид из окна был равносилен крышке гроба.

– Здесь колодец, теснота! – говорил Шеко. – Меня просто швырнуло вверх, в космос.

Он всегда начинал говорить очень тихо, почти неуверенно, но понемногу раззадоривался, входил во вкус, раскрывался, и речь его делалась бурной. Он рассказывал о своих переживаниях с азартом, с упоением, даже с восторгом, и это очаровывало, потому что он никогда не говорил о хлебе, о квартплате, о политике, а говорил только о рождении искусства. Он был носителем искусства, служил ему, воспевая божественность мира, поэтому его слова несли огромный творческий заряд. Пропущенные сквозь художника, эти слова превращались в творческую энергию, захлёстывавшую слушателей.

– Так вот и появились эти синие картины. Но сейчас я уже не пишу так.

Он рисовал в основном карандашом, но иногда брался за масло, работая им, правда, в совершенно чуждой для масляной краски манере – он создавал почти акварельные рисунки. Невозможно было поверить, что он наносил на холст краску, предназначенную для сочных мазков. Его кисть превращала эту

краску в почти прозрачную воду, даже не скрывавшую грубую фактуру холста. Главная тема того периода – Валаам, его водные просторы, его взгорбленные острова, его причудливо скривившиеся сосны. В Сашином исполнении всё это превращалось в синеватые тени, походившие то на корону, то на сгорбленные монашеские фигуры…

– Ты уже познакомил ребят с Аликом? – спросила Люба.

– Нет, – потупился Саша.

– Чего ты прячешь его? – засмеялась она. – Для себя бережёшь?

Саша ответил что-то невнятное. Мы с Ю не понимали, о ком шёл разговор. Но минуло какое-то время, и Саша представил нам Алика – таинственного Александра Фёдорова, о котором надо рассказывать отдельно и долго…

Несколько раз Шеко водил нас в гости к чудесному художнику по фамилии Козьмин, жившему совсем близко от нас. Потом он, к сожалению, погиб. Чем-то его картины перекликались с работами Шеко, но чем – не смогу сказать. На самом деле в них не найти ничего общего, но умение воплотить свой замысел в геометрических формах, обобщив контуры привычного мира до предела, роднило Шеко и Козьмина.

Сашины карандашные рисунки требовали повышенного внимания, в них надо было вглядываться. Обычно он ставил их в крышку от картонной коробки, чтобы создать ровный фон и отгородить рисунок от влияния посторонних форм. Это было целое действо, оно завораживало, требовало тишины. Затем Саша доставал маленькую флейту и начинал что-то наигрывать. Это было уже похоже на медитацию в каком-то восточном храме.

Чуть позже Шеко познакомил нас с Евгением Ванаевым, замечательным поэтом и фантастически талантливым композитором. К постоянно возникающей теме тесного мира, в котором мы все знаем друг друга, скажу, что племянник Жени Ванаева (Сергей Ванаев) учился в МАХУ, где я работал фотографом (правда, я не застал Сергея в училище, он уже выпустился к тому времени), а сам Женя дружил с семьёй Расторгуевых (это выяснилось на моём дне рождения, когда я пригласил Таню Расторгуеву, ещё учившуюся в МАХУ, и она сидела рядом с Ванаевым). Размышляя о таких вещах, мне хочется расспросить всех моих знакомых об их друзьях и знакомых, потому что обязательно отыщется ещё десяток-другой связующих звеньев, которые соединяют нас друг с другом.

Сложившаяся компания Саша-Женя-Алик периодически устраивала у нас дома маленькие концерты – флейта, гитара, клавишные. Ванаев дал Саше ласковое прозвище Шекончик, а его

флейту называл сопелкой («Доставай свою сопелку, играть будем»). То было время непрерывного творчества. Каждый из них открывал шлюзы своих замыслов, и мы буквально утопали в множестве впечатлений.

Саша был учеником Смирнова-Русецкого, а поскольку тот был учеником Рериха, Саша мог считаться если не учеником Рериха, то уж точно продолжателем его школы. Но это всё очень условно, потому что каждый из них – неповторимый мастер своего дела, каждый создал свой мир, каждый оставил свой собственный след в искусстве.

Сашина манера рисовать меня не только воодушевляла, но и ставила в тупик. Мне не удавалось понять, каким образом его карандаш мог накладывать на бумагу едва уловимую серую пыль грифеля. Сколько раз пытался я повторить это! Ничего не получалось. И тогда я пошёл на хитрость.

– Саша, нарисуй мне какого-нибудь бойца из карате, – попросил его я и разложил перед Шеко множество фотографий, чтобы он понял, какие существуют стойки и удары.

Саша долго упирался, но всё-таки согласился. И тут я увидел, как он затачивал карандаш… Секрет изящества был раскрыт. Впрочем, карандаш карандашом, но рука художника остаётся рукой художника.

Когда грянули чёрные годы перестройки, а потом и бандитизма, мы надолго потеряли Сашу из виду. Он где-то был, что-то делал, но мы не встречались и не общались. Лишь однажды я дозвонился ему с предложением сделать о нём сюжет для телеканала. Шеко колебался, говорил что-то о нравственности, и я не сразу понял, что его удерживало. Со мной разговаривал не тот Александр, которого я знал и который был готов на любые творческие подвиги. Мне вспоминается, как маленький съёмочный коллектив выдуманной, но не существовавшей на самом деле «Поглазей-Студии» периодически отправлялся в лес, иногда уезжал в Дубну на конюшню легендарного Тито Понтекорво, и мы снимали сцены из жизни Дикого Запада. Шляпы, револьверы, сапоги, перья, бороды… В одной из сцен я уговорил участвовать Шеко. Мы уехали в самый конец улицы Красного Маяка, забрели в глубокий овраг с живописно поваленными деревьями и отсняли проход двух ковбоев. Саша, застегнув на бёдрах ремень с кобурой, походил туда-сюда и сказал задумчиво: «Да, это всё не просто так… Это всё серьёзно… Тут совсем другие силы пробуждаются». Я понял, о чём он говорил: одежда нередко передаёт человеку эманации того мира, который она воплощает собой… И вот я звал его сняться для моей программы «Краски», сняться в сюжете о творчестве,

сняться в роли самого себя. И Саша не согласился.

Я не настаивал, но огорчился. Позвонив Ванаеву, посетовал, что Шекончик упрямится. Женя не удивился: «Саша сильно ушёл в православие, иконы пишет. Какое тут телевидение! Ты же там можешь голых девок показать, а как же он рядом с такой темой? Нет, ему трудно сейчас»…

Прошли годы, прежде чем мы опять сошлись с Шеко. Он поменял ещё несколько стилей, выбрался из затворничества, начал понемногу участвовать в выставках. По телефону голос его звучал, как и раньше, ничуть не изменился. «Приходите на выставку», – позвал Саша. Оказалось, что выставка намечалась в выставочном зале библиотеки №27 – той самой библиотеки, где проходят семинары индейского клуба и где состоялась когда-то презентация моих первых книг. Ольгу Викторовну Озазулину, директора библиотеки, я прекрасно знал. Из разговора с ней выяснилось, что некоторое время она даже брала уроки у Саши! Да, мир удивительно тесен.

Потом мы ещё несколько раз бывали на его вернисажах. Он не утратил мастерства, научился новым тонкостям, пошёл по новому пути, осваивая совершенно другую технику и не свойственную ему цветовую гамму. Мастер никогда не останавливается. Мастер всегда идёт вперёд. Беседы с Шеко по-прежнему доставляли удовольствие. Но всё-таки это был уже не тот Саша, каким-то пугливым сделался, отдавшись православию. Чуть в разговоре забрезживали мистические мотивы, он настораживался: «Это опасно, не надо касаться этого», а если возникали эротические мотивы, он буквально открещивался.

– Саша, ты что! Мы же об искусстве говорим!

– Ну, Андрей, знаешь, искусство искусством, а все-таки… Ты вон в книге как прописал римские оргии. Я только краешком глаза заглянул в книгу, в магазине полистал её и сразу понял, какая сила. Это затягивает, это опасно. А ещё у тебя там магия и всё такое…

– Да, есть там оргии, масса голых тел. Но книга-то на самом еле о вечном, о Боге, об исканиях человеческих. С кем же мне обсуждать это, если не с тобой? Ты вон какой проделал путь, сколько поворотов сделал! Ты же лучше других понимаешь, что искусство, а что – пена.

Он кивал, довольный моей похвалой, и осторожно подключался к «скользкой» теме.

– Конечно, эротика всегда была. И сам я тоже… Ты же помнишь мои ранние рисунки… Но я же ушёл, поменялся…

Не знаю, каким Саша был во времена совместной жизни с Любой Урицкой, но мы познакомились с ним, когда он уже

ступил на путь православия. Он уже рисовал храмы, но они ещё не стали центром его творчества, они составляли гармоничную часть окружающей нас природы (не городского пейзажа, не социальной жизни, а природы). Но людей на его картинах не было. Люди – женщины и мужчины – не существовали в его мире.

Трудно понять, как Саша уживался с Любой. Они были разные. Она крепко стояла на земле, она была похожа на хищника, а он стремился ввысь. Сначала высью для него был космос (как пространство), затем высью стал Бог. Люба так и осталась на земле, переключившись с искусства на детей. Творчеством для неё стали роды (один ребёнок, второй, третий) и борьба за жизнь. Саша остался художником. Плоть для него – только возможность не оборвать связующую нить с земным существованием. Он настолько мало уделял внимания пище, что довёл себя до крайней черты и однажды чуть не умер. Позже, когда мы навещали его в больнице, он с недоумением вспоминал, как потерял сознание и как сестра отправила его на «скорой» в клинику. Он до сих пор не ест, а клюёт что-то, до сих пор глотает какие-то таблетки, потому что здоровье подорвано основательно. Но ничто не сломало его творческий дух. Он был и остаётся Художником.

ПРО ЛЕОНИДА ЛАТЫНИНА

С Леонидом Александровичем Латыниным меня познакомил мой школьный приятель Володя Сидоров, которого все называли просто Вовочка.

В интернате Вовочка был известен прежде всего тем, что учился играть на скрипке. Его сосед по комнате тоже учился в музыкальной школе, но по классу гитары. И если гитара для нас в то время символизирована «настоящую» музыку («Beatles», «Deep Purple», «Slade» и д.п.), то скрипка не значила ровным счётом ничего. И ничего удивительного не было в том, что Вовочка, вырвавшись из-под родительского крыла, забросил скрипку подальше и взялся за гитару. В его руках этот инструмент всегда звучал прекрасно, они любили друг друга. Но Вовочка не только перебирал струны, он ещё и пел – душевно, с удовольствием. В его исполнении я впервые услышал «Арину» и «Как странно заходить в знакомый дом». Песни меня покорили.

– Очень талантливый поэт, – сказал Вовочка. – Мы с ним знакомы. Леонид Латынин. Знаешь?

Я не знал этого имени, как не знал почти никого из поэтов, будучи равнодушен к стихам.

И вот однажды Вовочка пригласил меня в какой-то институт на заседание литературного клуба.

Мы встретились на автобусной остановке близ станции метро «Каширская». На остановке нас ждал Леонид Александрович Латынин. Моросил противный осенний дождь, светили фонари, на мокром асфальте густо лежали мокрые кленовые листья. Латынин что-то увлечённо рассказывал. Услышанной информации было так много и подавалась она с таким изяществом, что я едва не захлёбывался от удовольствия. Помню, что на заседании клуба Латынин расхваливал свою дочь, восторгался её работоспособностью.

– Ни я, ни моя жена не успеваем за ней, а ведь мы профессионалы, – говорил он. – Юля удивительно талантлива.

И ещё помню, что он, представляя собравшимся Володю Сидорова, назвал его комсомольским работником. Так и было: Вовочка пошёл по комсомольской линии, делал карьеру в райкоме комсомола. Это вызвало у слушателей негативную реакцию, и Вовочка потом пенял Латынину: «Не следовало о комсомоле-то…»

Непослушные, чуть растрёпанные, седеющие, курчавые над ушами волосы, слегка удивлённые и восторженные глаза, безудержная речь – таким он запомнился в тот раз. Таким он

остался для меня навсегда.

На той, первой нашей встрече Латынин рассказал мне о своём романе «Гримёр и Муза» и, узнав, что я немного рисую, предложил мне сделать иллюстрации к его книге. Через несколько дней мы встретились, и я получил на руки тяжеленную пачку зачитанных машинописных листов. Первые же строки оглушили меня. Страница за страницей я читал, проваливаясь в кошмарный, какой-то сновиденческий мир. О такой книге я мечтал давно, и вот она явилась, прорубив окно в страну поэтических ужасов. Поразило всё и не в последнюю очередь – обилие эротики, зачастую физиологичной, а иногда и омерзительной (как в сцене с дряхлыми стариками, насилующими девочку).

Рисунки у меня не получились. Только один мне понравился, он же приглянулся и Латынину («Таможенник», – назвал он его).

Когда роман был опубликован в 1988 году, на обложке стояло другое название: «В чужом городе». И у книги исчезло начало, так поразившее меня при чтении рукописи. На помещённой внутри фотографии автора виден за его спиной мой «Таможенник». Леонид Александрович очень хотел видеть в книге этот рисунок. Оставляя мне автограф, он написал: «Андрей, спасибо за Таможенника»…

Латынин обожал рассказывать о себе. Не о своей реальной жизни (встречах, поездках, работе), а о внутренней жизни. Она у него была безбрежная, насыщенная и, как должно быть у подлинного художника, она перетекала в нашу реальность. Мне доставляло огромное удовольствие слушать, и порой мне кажется, что он всегда был гораздо интереснее мне как рассказчик, чем как писатель. Как-то раз он делился своими впечатлениями о какой-то вечерней прогулке по Арбату (ну что в этом вроде бы может быть увлекательного?), и я заслушался: так много красок, так много впечатлений. И среди прочих деталей он упомянул о каком-то окне, где горел свет, на третьем этаже.

– Я остановился и не мог оторвать глаз от этого окна, – рассказывал Леонид Александрович. – Меня буквально тянуло туда. И я знал, что это окно, эта комната были мне близки и важны. Я знал, что в той квартире жила женщина, которую я любил однажды. Не этот я, не в этой жизни, но всё-таки я…

В ту минуту я прочувствовал Латынина до конца – его чувственность, его мистицизм, его абсолютную поэтичность. Да, как человек, делившийся со мной своими чувствами, он был важнее для меня, чем писатель.

Однажды я пригласил его на просмотр знаменитого фильма «Калигула». Это была так называемая экранная версия, без

порнографических кадров, но и она шокировала советского человека. Во время лесбийской сцены в потаённой комнате (один из сильнейших эпизодов фильма, в котором звуковой ряд – монотонный шум дождя и раскаты грома – имеет куда большее значение, чем обнажённые тела) Латынин задумчиво произнёс, вглядываясь в обнимавшихся голых женщин: «Бесполые кадры, совсем бесполые».

Через несколько дней Вовочка Сидоров пригласил нас в гости. Латынин пришёл раньше других, и между ними завязался разговор об эротике и порнографии. Напомню, что речь идёт о конце 1980-х, когда людей арестовывали за хранение фильма «Последнее танго в Париже», не имеющего никакого отношения к порнографии, а уж за «Эммануэль» срок был гарантирован. Разговор плавно перешёл в просмотр немецкой порнографии, где всё показано подробно и неторопливо. Когда пришёл я, Леонид Александрович сидел перед телевизором и был похож на младенца, перед которым добрый волшебник совершал настоящие чудеса с помощью волшебной палочки. Он был потрясён увиденным, загипнотизирован движениями на телеэкране.

– Надо же, как это выглядит! – повторял он, словно не мог определится со своими впечатлениями.

Я понимал его, поскольку сам в своё время был так же ошеломлён порнографией. То, что происходит на экране – вторжение мужчины в женщину, не приукрашенное никакими художественными эффектами – шокировало советского человека. Не столько сам секс, сколько его антипоэтичность била по чувствам художника: вот эта всепоглощающая бездна, вот этот макрокосмос человеческой плоти…

Латынин сыграл в моей жизни важную роль, не менее важную, чем Шебаршин, который поддержал моё желание пойти учиться в разведшколу, и не менее важное, чем Стрелецкий, который рискнул опубликовать сразу три мои книги.

К моменту нашего знакомства я уже радикально изменил мою жизнь: ушёл из Внешторга, отказался от карьеры разведчика, превратился в фотографа, надеясь когда-нибудь стать кинорежиссёром. Я уже сделал несколько подпольных короткометражных фильмов, придумав собственную технологию, и даже принял участие в фестивале «параллельного кино», но от моей мечты меня отделяла непреодолимая пропасть. Узнав о моих фильма, Латынин попросил показать их ему.

Мы опять встретились у Вовочки. Здесь необходимо сделать одно важное уточнение: никто из моих друзей не желал принимать мои увлечения всерьёз. Меня называли бездельником

и себялюбивым эгоистом. Кино, в котором с удовольствием снимались друзья, в их глазах оставалось обыкновенным хобби. Почему-то никто не желал увидеть в этом профессию. Я мечтал о режиссуре и шёл в ту сторону, где она, как мне представлялось, ждала меня. Если бы у меня получилось, мои друзья вынуждены были бы признать, что я не зря отказался от того, чем так дорожили они – от карьеры, от благополучия.

И вот Латынин сел смотреть моё кино. Фильмы коротенькие (в среднем по тридцать минут), время пролетело быстро. Латынин смотрел с удовольствием, и Вовочка раздражался из-за этого: ведь Леонид Александрович был для него непререкаемый авторитет. Если Латынину нравится, то это бьёт прямо по позициям Вовочки… А Латынину нравилось!

После просмотра Леонид Александрович вышел к нам на кухню и сказал: «Очень хорошо! А тот кадр, где окурки плавают в посуде, просто гениален!»… Мнение Латынина было для меня как лавровый венок над головой императора во время триумфа.

А через год я приехал к Леониду Александровичу на Патриаршьи пруды, где всегда скрипели старые паркетные полы и царила атмосфера какой-то таинственности. Мы долго сидели за кухонным столом, говорили об искусстве и я жаловался на то, что у меня ничего не получается: всюду стена. Он внезапно встрепенулся: «А давайте я Маргарите Тереховой позвоню. Может, она посоветует что-нибудь». И позвонил. Терехова в тот же день связалась в Альгисом Арлаускасом, который преподавал во ВГИКе, и он согласился посмотреть мои фильмы… Потом были вступительные экзамены… Впрочем, это уже другая история…

Если бы не он, я бы не попал во ВГИК и не прошёл бы тот удивительный путь, который наметился в моей судьбе после того разговора на Патриарших прудах.

Работая на ТВ, я делал с Димой Менделеевым программу «Империя сна». Блуждая в поисках материала, пытаясь нащупать нужное и определиться в непонятной для нас самих задаче, я вспомнил про Латынина. Кто лучше всего рассказывает? Конечно, Леонид Александрович! Мы нагрянули к нему с кучей съёмочной техники, возили камеру на колёсиках, высвечивали софитами уголки комнаты, а я, высчитав сложную траекторию движения камеры, заставлял Латынина рассказывать свои сны, пересаживая его с место на место в процессе рассказа. Он не мог понять, чего я хочу и зачем такие сложности. Я не мог объяснить, потому что многие вещи я объяснить не могу… Жаль, что не сохранилось копии той передачи. Это был серьёзный эксперимент.

В 1991 году я закончил мой первый роман. Не зная, что с ним делать и опасаясь отдавать его в чужие руки, я позвонил Леониду

Александровичу. «Не украдут ли в издательстве?» – спросил я. «Никому ваш роман не нужен», – ответил Латынин, даже не поинтересовавшись, о чём книга. Принимая меня как режиссёра, он категорически не желал видеть во мне писателя. Правда, на тот момент я написал только один роман и какие-то невнятные повестюшки, но Латынин даже не захотел слушать о них. Почти с раздражением он сказал: «Всё равно не напечатают». Возможно, он испугался, что я пишу слишком хорошо и составлю ему конкуренцию. Или боялся обнаружить, что я пишу отвратительно и придётся подыскивать какие-то слова, объясняя это… Да и вообще…

Время промчалось, изменив всех до неузнаваемости и расшвыривая по планете. Многие вообще исчезли с лица Земли. А некоторые живут где-то, довольные собой, но скучные и неинтересные. Давно я не слышал ничего про Леонида Латынина, лишь как-то раз промелькнул он в телевизионной передаче Виктора Ерофеева. Но почему-то мне кажется, что он остался прежним, со своими красочными мыслями, со своими воодушевляющими рассказами…

Хотелось бы и мне быть таким же интересным для сегодняшней молодёжи, каким для меня был Леонид Латынин.

ПРО САМВЕЛА ГАСПАРОВА

Как-то увидел я по ТВ сюжет о приезде Майкла Джексона в Москву в 1993 году. С удивлением узнал, что гастролями Джексона занимался Самвел Гаспаров.

Судьба свела меня с ним, когда я ушёл из Внешторга. Я хотел попасть в кино, делать фильмы, но ничегошеньки не знал о том мире и о том, как подступиться к моей мечте. Я снимал что-то на любительском уровне, но понятия не имел, как становятся профессионалами. Это покажется странным, но лет до двадцати мне ни разу не приходила мысль о ВГИКе. Я был знаком с одним студентом, учившимся на операторском факультете, и – что гораздо важнее – с Катей Бобровской, дочкой известного режиссёра, учившейся во ВГИКе на киноведческом. Но их присутствие в моей жизни почему-то не заставило меня задуматься о поступлении во ВГИК. Институт кинематографии был словно отгорожен от моих мозгов какой-то заслонкой.

Саша Шурубурин, коллега моего отца, в то время женился второй раз. Его жену звали Тамара. Она сказала, что в их гаражный кооператив просится некий Самвел Гаспаров. «Давай я поговорю с ним, чтобы он взял тебя под своё крыло. Может, поработаешь с ним, опыта наберёшься», – предложила Тамара. Разумеется, я согласился.

Неловко признаваться, но в то время я почти не знал фамилий режиссёров. Я знал фильмы (нередко помнил их по кадрам), но в большинстве случае понятия не имел, кто их создал. Моя необразованность была катастрофической.

С Гаспаровым мы встретились на студии им. Горького. Он был довольно угрюмого вида, с тяжёлым взглядом исподлобья, типично кавказской внешности, плотный, но не толстый, уверенный в себе. Мы ходили по коридору, разговаривали. О кино Самвел Владимирович рассказывал с удовольствием. Он только что возвратился из Вьетнама, где снимал «Координаты смерти», был весь в новых планах, собирался ехать в Африку. Студия задумывала какой-то фильм совместно с ФРГ, Гаспаров хотел, чтобы в главной роли снимался Клинт Иствуд. Услышав имя Иствуда, который был моим кумиром с раннего детства, я понял, что попал не только в нужное время в нужное место, но что жизнь приготовила мне почти невозможный подарок. Гаспаров сказал, что я буду у него переводчиком.

– Мне предлагают на следующий год набирать свой курс, – рассказывал мне Самвел Владимирович. – Не во ВГИКе, а на Высших режиссёрских курсах. Если ты мне понравишься, я возьму

тебя.

Я готов был из кожи лезть, чтобы понравится ему. И приезжал к Самвелу по первому его зову. Он снимал квартиру около метро Новые Черёмушки. Одна или две комнаты в «хрущёвке» – этого я не помню. Иногда я уходил от него очень поздно, троллейбусы уже не ходили, приходилось брать такси.

Однажды Гаспаров позвонил мне и спросил, разбираюсь ли я в видеомагнитофонах. Он получил постановочные за «Координаты смерти» и хотел купить видеомагнитофон. В то время они стоили, как автомобиль, и продавались только в сети валютных магазинов «Берёзка». Помню, как мы зашли в сберкассу, и Самвел достал несколько пачек денег в банковской упаковке. Я таких денег не видел раньше и впервые задался вопросом, сколько же получает кинорежиссёр (правда, спросить не осмелился). Гаспаров поймал такси и мы отправились на Сиреневый бульвар, где продавалась зарубежная техника. По дороге он рассказывал о своём последнем фильме. Ничего из его рассказов не отложилось у меня в памяти. Запомнилось только, как он возмущался насчёт невоспитанности вьетнамцев, приводя в качестве примера один случай, когда кто-то из вьетнамцев решил сходит по малой нужде и стал отливать прямо в присутствии нашей актрисы, отвернувшись, правда, в сторону. Самвел Владимирович страшно возмущался такой дикостью. И ещё он ворчал на таможенников из-за того, что во Вьетнаме ему подарили джип, а на таможне за ввоз джипа потребовали какую-то огромную пошлину, и Самвел махнул на машину рукой, хотя ему очень хотелось джип…

Возле «Берёзки» Гаспаров потратил не более пяти минут на покупку с рук «чеков» (так называлась валюта, на которую торговали в «Берёзках»), и это меня крайне удивило. Он был решителен и ничего не боялся, а ведь возле тех магазинов шныряло множество блюстителей закона в неприметной одёжке. Мы выбрали видеомагнитофон и победно вернулись домой. Начались каждодневные просмотры фильмов.

Как-то вечером я приехал к нему и привёз кассету с моим вестерном. Прекрасно понимая, что фильм, мягко выражаясь, слабенький, я решил показать Гаспарову только самые выгодные сцены. К тому моменту я уже выяснил, Гаспаров режиссировал хорошо знакомые мне фильмы «Забудьте слово смерть», «Хлеб, золото, наган», «Шестой» и понимал, что он тяготел к вестернам. Стало быть, мои перестрелки и драки он мог оценить по достоинству. Мы пили чай и смотрели мой опус. Меня била нервная дрожь. Но когда на экране грянули выстрелы и в грязном салуне, устроенном в обычной советской квартире, на куски

разлетелись одна за другой несколько бутылок, Самвел Владимирович пришёл в восторг.

– Это здорово! Я тебя беру к себе на курсы! Вот такие люди и должны снимать боевики. Как вы это всё сделали?

На седьмом небе от счастья – это было слишком малая высота для описания моего состояния. Я объяснил Гаспарову, в каких условиях мы снимали, как делали пламя револьверов, как били посуду, как строили декорации и на какую камеру снимали. Он слушал, словно я рассказывал сказку: ведь я снимал кино почти в подпольных условиях, отдавая этому процессу всё свободное время (вечером, ночью, в выходные), при этом каждый день отсиживал с девяти утра до шести вечера на своей официальной работе, занимаясь контрактами на импорт медикаментов.

В тот вечер я познакомился с женой Самвела (насколько я понял, он только-только женился).

– Моя жена – Наташа Вавилова. Знаешь такую актрису? – спросил он.

Наташа Вавилова! Александра из фильма «Москва слезам не верит»! Разве был в Советском Союзе хоть один человек, который не знал её?

Она пришла домой усталая, тихая, присоединилась к нашему чаепитию. Гаспаров смотрел на неё с нескрываемой нежностью. Казалось, не было для него ничего ценнее Наташи. Он как-то спросил её при мне: «Ты же не бросишь меня, правда?» Наташа с улыбкой отвечала: «Ну что ты, Сёма». Среди своих он был просто Сёма, но я обращался к нему только по имени-отчеству. Наташа была точно такой, какой я видел её на экране, и мне казалось, что я знаком с ней много лет – такой «привычной» были её лицо, голос, глаза. Мне почему-то не мешала большая разница в их возрасте. Лишь однажды, когда в гостях у них находился Наташин отец, я осознал, что Самвел годится Наташе в отцы.

Он поделился со мной своим желанием снять Наташу в фильме по повести Айвазяна о предвоенной и военной жизни Тбилиси. Он даже дал мне почитать книгу Айвазяна. Мне показалось, что роли для Вавиловой там нет, потому что речь в повести шла о школьнице, но в сценарии можно всё сделать по-другому.

Проверяя мою пригодность для кинематографа, Самвел поручил мне однажды написать сцену погони для сценария того боевика, который должен был сниматься совместно с Германией. Я дал волю воображению, отпечатал четыре или пять машинописных листов и на следующий день принёс их Гаспарову. Самвел прочитал всё внимательно, пока я с нетерпением ждал на соседнем стуле.

– Это очень много, – вынес он свой приговор. – Тут получится целая часть.

Что такое «часть» я не знал в то время. Позже, учась во ВГИКе, я узнал, что «часть» – это десятиметровый рулон киноплёнки. Но я понял, что в целом Самвел Владимирович одобрил ход моих мыслей.

– Ты сохрани это обязательно, – сказал он.

– Зачем?

– Не выбрасывай ничего из того, что пишешь.

Но этого «сценария» я не сохранил. Какая в нём ценность, если он не нужен для конкретной работы? Будучи молодым, я легкомысленно относился к таким вещам. Сколько всего выброшено – что-то со зла, что-то от отчаянья, что-то по неаккуратности…

Забегая вперёд, скажу, что моё сотрудничество с Гаспаровым так и не состоялось. Мне жаль, потому что в то время я мечтал делать именно то, чем занимался он.

Гаспаров любил кино, любил приключения, любил работу. Поскольку он был единственный киношник среди моих знакомых, мне казалось, что он лучше всех разбирается в кино и глубже всех пронизан творческим духом. Его критиковали за то, что он формально подходит к проработке характеров, уделяя внимание исключительно действию и стремительности сюжета. Это так, конечно, однако можно ли критиковать юмориста за то, что он не выступает с грустными историями, или наоборот? Гаспаров делал замечательные боевики, выдерживая их в строгом соответствии с классическими вестернами. Повторяю: он любил кино. Как-то он сказал: «Фильмом надо заниматься, пока горишь желанием. Это как заниматься любовью с женщиной – только пока есть страсть, пока не перегорел. И кино без страсти делать нельзя». Мне показалось, что это прекрасное определение.

Высшие режиссёрские курсы, куда Самвел обещал взять меня, не состоялись. Что случилось, мне не известно доподлинно, но Гаспарову отказали по каким-то причинам в наборе слушателей. Мой выигрышный лотерейный билет оказался без выигрыша. Наши дороги разошлись. Возможно, это к лучшему, потому что понемногу я охладел к боевикам и стал тяготеть к совсем иному кинематографу, хотя вестерны я люблю по-прежнему.

Когда-то Самвел Владимирович дал мне почитал книгу Айвазяна с автографом автора. Наши пути разошлись, а книга так и осталась у меня на книжной полке. Минуло много лет с тех пор. Разбирая книги, я обнаружил томик Айвазяна и решил, что книгу надо всё-таки возвратить. Просто так я не позвонил бы Гаспарову, но тут такой повод подвернулся – книга. Через справочник Союза

кинематографистов мне удалось найти его домашний телефон. Трубку взяла жена.

– Наташа? – спросил я, узнав её голос (он совсем не изменился). – Как приятно слышать Вас!

Объяснил ей, кто я, она вспомнила и сразу дала мне номер мобильника, чтобы я договорился с Самвелом о встрече… И он пригласил к себе в офис.

Мне показалось, что он ничуть не постарел и вообще остался прежний. Ощущение, что двадцати с лишним лет, прошедших с последнего нашего разговора, просто не было. Он живо рассказывал о себе, о работе, ворчал немного, делился планами о поездке в Америку и о написании своих воспоминаний. Книга Айвазяна удивила его.

– Надо же! Она ведь с автографом! А я и не помнил! Спасибо тебе…

Я подарил ему что-то из моих книг, попрощался и уехал.

Теперь нет сомнений, что больше не свидимся.

ПРО ЧЕ ГЕВАРУ

Говорят, что легендарный Че Гевара держал меня на руках. Этого я не помню, но в нашу квартиру он приходил.

Мы жили в коммуналке, в полуподвальном помещении на улице Строителей, неподалёку от станции метро Университет. Соседями по квартире были испанцы – Виктор и Хуанита, бежавшие, как и многие коммунисты, в тридцатые годы из Испании от фашистов. Виктор тяжело болел, постоянно кашлял, а на спине и груди у него виднелись жирные шрамы – следы пыток. Хуанита была одной из самых известных испанок, живших в Москве в то время. Они были забавные люди, сильно обрусевшие; разговаривали между собой только по-испански, но часто вставляли русские слова: «Victor, quieres los огурчикос?» и всё в таком роде. Ещё среди испанцев была известна Мехида, у неё учился мой отец в Академии внешней торговли. Моя преподавательница испанского языка в МГИМО – рыжеволосая, высоченная бывшая баскетболистка – тоже училась у Мехиды. Вот так тесен мир.

Когда Че Гевара приехал в Москву в 1964 году, его повезли в гости к Николаю Трапезникову, проживавшему в нашем доме. Трапезников был знаменитостью в мире медицины (уже через год он возглавил онкологический центр). Не знаю, что свело моего отца с Трапезниковым, но они дружили. Это и послужило причиной, по которой Николай Николаевич повёл кубинского революционера к нам.

Поскольку испанская речь для меня была практически родной в то время, я не удивился, когда в коридоре возник ещё один испаноговорящий мужчина. Че прошёл в нашу комнату, где посредине стоял круглый стол, а вокруг лепились к стенам кровать, шкаф, трюмо и диван. Туда же пришли Виктор и Хуанита. Было шумно и дымно, потому что все курили. Че дымил сигарой, это запомнилось, потому что отличалось от привычных папирос.

Не знаю, о чём они говорили. По-испански я понимал хорошо, поскольку с первых дней учился говорить сразу по-русски и по-испански. Но разве меня интересовали разговоры взрослых? О кубинской революции я, четырёхлетний мальчик, ничего не знал, поэтому не мог оценить, кто появился в нашей комнатёнке. Имя команданте Че ничего не значило для меня. Куда больше меня интересовала жившая этажом выше девочка Лариса, которая по просьбе мальчишек снимала с себя трусики и показывала нам кое-что.

Че Гевара подарил отцу портрет с автографом, и эта фотография хранилась в нашем доме до середины семидесятых. Такой фотографии я больше не видел, она не из числа известных: в полупрофиль, чуть пересвечена фотовспышкой, из-за которой губы Эрнесто получились неестественно тёмными, с сигарой во рту, в берете… Уже в Индии, где отец работал по линии внешней разведки, он сдружился с кубинским послом (кажется, его звали Паскуаль, но не уверен). Мы часто посещали кубинцев, и меня даже в шутку сватали за их дочку, но она не привлекала меня, поскольку была, во-первых, слишком высокой, во-вторых, чернокожей, и, в-третьих, меня интересовала Марина. Вот этим кубинцам отец и подарил потрет Че.

Отец всегда вспоминал о знакомстве с Эрнесто с большой гордостью. Я же вынужден вспоминать о встрече с величайшим революционером – просто как факт. Это было, но что с того? Впрочем, его революционный дух, наверное, заразил меня, потому что я обожал песни кубинской революции, а потом мне стала интересно всё, что связано с революционным движением в Латинской Америке. Так, я остро и болезненно реагировал на все сообщения о революции в Никарагуа, меня восхищали бородатые люди в беретах, дравшиеся против Сомосы и в конце концов победившие (история с захватом партизанами Никарагуанского парламента околдовала моё юношеское воображение). Одним из самых ярких переживаний была работа с делегацией никарагуанских детей в 1980 году (во время Олимпиады в Москве). Многие из них выросли в партизанских отрядах, многие потеряли семью, и все горели революционным огнём. Они были наивны и светлы, ненавидели фашизм во всех его проявлениях. Че Гевара был для них идеалом, хотя национальный герой Сандино был всё-таки ближе. Про Ленина они спрашивали постоянно: какой он был, как делал революцию и каким автоматом предпочитал пользоваться в бою. Попытка объяснить им, что Ленин не пользовался оружием вообще приводила их в недоумение: «Революционер не может без оружия!»… Общаться с ними было наслаждением, а прощание в Шереметьевском терминале было страшно, потому что все – они и мы – понимали, что расстаёмся навсегда.

До сих пор у меня хранятся никарагуанские журналы тех лет, от которых веет революционным духом. Несмотря на моё категорическое отрицание всех революций и любого проявления насилия, я всё-таки остаюсь верным сторонником Эрнесто Че Гевары и Августо Сандино.

ПРО ТАНЦУЮЩЕГО ЛИСА

По паспорту он был Дмитрий Сергеев, но это имя существовало как-то отдельно от него. На самом деле его звали Танцующий Лис. Вся жизнь его была воплощением танца…

Чтобы рассказать о нём, придётся начать издалека.

Индейцами я увлекался с раннего детства. Толком не зная о них ничего (видел несколько фильмов с участием Гойко Митича и прочитал несколько книг Фенимора Купера и Майн Рида), я влюбился в них безоглядно. Объяснить это невозможно. Кого-то охватывает любовь к человеку, кого-то – к музыке, а некоторые влюбляются в образ жизни. Впрочем, индейский образ жизни, полюбившийся мне, не существовал к тому времени уже лет сто, поэтому его можно считать почти фантазией. Моя страсть к индейцам вызывала у людей недоумение, а их недоумение вызывало недоумение у меня. Я был один, никто рядом со мной не поддерживал моего увлечения. Я собирал картинки, газетные и журнальные статьи, вклеивал их в специальную тетрадь, делал выписки из Большой советской энциклопедии. Понемногу взрослел, но тема индейцев не только не оставляла меня, она крепчала и приобретала новое качество: я понемногу превращался в исследователя, а исследователь решил воплотить открытую им историю в книги. Это вполне понятно, поскольку я чувствовал некую обязанность – объяснить всем, кто был далёк от этой темы, причину моей любви к американским туземцам…

Однажды, уже работая на телевидении, я случайно наткнулся на сюжет, называвшийся «Майн Рид Шоу». Невозможно объяснить, что со мной произошло, когда я увидел людей, облачённых в расшитые бисером кожаные рубахи и мокасины. Я увидел настоящие орлиные перья… Да что там перья! Я увидел людей, которые болели индейцами не меньше меня, а то и больше – ведь они материализовывали их жизнь! Они сами были индейцами!

Прошло несколько дней, и я заполучил номер телефона, связался с одним человеком, затем с другим и наконец узнал, что интересовавшие меня люди в ближайшие недели поставят индейский лагерь где-то под Питером и что это мероприятие называется Пау. Разумеется, я решил ехать.

Телекамеру мне дали только на один день, но отказаться я не мог, хотя не был уверен, что успею снять что-то, поскольку лагерь надо сначала отыскать. Ехал я туда, представляя почти художественный фильм: вот впереди появляется стойбище, я выпрыгиваю из машины, даю распоряжение помощнику снимать

всё подряд, а сам иду вперёд, ожидая выхода индейцев мне навстречу, начинается обмен рукопожатиями, раскуривание трубки… Ничего такого не произошло, никто не вышел мне навстречу, потому что мы свернули не на ту дорогу, проплутали часа три по лесу и вернулись в Питер, так и не увидев Пау… На нервной почве у меня воспалился глаз, и в Москве прямо с вокзала я помчался в неотложку, где мне что-то накапали, чем-то поскребли и напугали отслоением сетчатки. Впрочем, это совсем другая история…

Осенью мне позвонила Маша Большакова. «Мне сказали, что вы хотите снимать наших ребят. Они приехали из Питера», – начала она, но я никак не мог взять в толк, о ком шла речь. А когда понял, что Маша говорила об индейцах, то у меня перехватил дыхание – они рядом! Оказывается, они приехали на съёмку программы «До шестнадцати и старше», но случилась, как это нередко происходит на ТВ, какая-то «накладка», и никто их не снял. Я немедленно позвонил в нашу редакцию… О боги, какая удача! Кто-то отказался от запланированной съёмки, и через пару дней освободившийся «Бетакам» упал мне в руки.

На съёмку я отправился на «газели». Где-то неподалёку от площади Ильича мы въехали во двор и остановились перед грязненькой башенкой. Дверь открыла Маша. По квартире бродили люди, некоторые с длинными волосами. Все незнакомые. И ни малейшего намёка на индейцев. Маша представила меня мужу: «Это Саша». Его иногда называли Лошадник, поскольку он продал квартиру и купил лошадей. История его жизни требует отдельного рассказа…

Мы познакомились. Они начали наряжаться, а я спустился вниз и устроился в «газели», предвкушая удовольствие от съёмки. Минут через тридцать они вышли. В полной красе. Приводя в состояние шока прохожих. Завораживая своим видом даже дворовых кошек. Их одежда шуршала бахромой и гремела бубенцами. Передо мной стояли индейцы! Казалось, сам воздух изменился при их появлении…

В «газель» все не вмещались. Долго втискивались, прилаживались, выгнали моего ассистента, и он отправился домой, не скрывая горького сожаления. В конце концов кое-как влезли, набились плотно, ехали стоя. Нашли какую-то поляну в Измайловском парке. Выгрузились. Ребята принялись дошлифовывать свой облик, вытащили откуда-то оперения. Я судорожно снимал, боясь упустить что-либо. Глаза мои разбегались в прямом смысле слова.

Танцующий Лис, Мато Нажин, Лёня Шериф, Танто, Дима Кроу… С ними мне предстояло встретиться ещё не раз. Они

весело переговаривались, отпускали шуточки, острили. Забавно, что блондины и блондинки нацепили чёрные парики, чтобы выглядеть более «по-индейски».

Они начали петь, стуча в барабан. Начали танцевать. Руководил ими Лис. Даже не руководил, а как-то незаметно организовывал их. Он был высокий, с длинными ногами, которые двигались легко, почти порхали, едва притопывая по земле…

На обратном пути мы с ним разговорились. Он рассказывал о своём фильме «Дезертир», о своей музыке, об индейцах. Я слушал, и не мог насытиться, хотя уже был переполнен. Их песни звучали в моей голове почти неделю – настоящее наваждение.

Через некоторое время Лис прислал мне свою музыку, которую я считаю гениальной во всех отношениях. Он как никто чувствовал, что такое дух вестерна. Он прислал мне 16-мм киноплёнку со своим фильмом – жест абсолютного доверия, потому что никаких копий этого фильма не было (потеряй я её, фильм бы пропал).

Зимой меня отправили в командировку в Питер. Мы снимали милицейский рейд по наркопритонам, какое-то судебное заседание, побывали в «Крестах» (жуткое впечатление, несмываемый осадок ужаса), умудрились ночью попасть в облаву и едва не были застрелены милиционерами, которые приняли нас за бандитов, а нашу камеру – за спрятанный в автомобиле пулемёт. В один из тех вечеров, когда мы торчали в гостинице без дела, я созвонился с Лисом и, поскольку он находился дома, сорвался к нему брать интервью. То был первый, долгий, основательный разговор, в котором, на мой взгляд, Дима раскрыл себя целиком. Знаю, что многим не понравилось, как я усадил его на фоне виолончелей, а не нацепил на него перья. Но зачем перья, когда он и так говорил об индейцах! Виолончели оттеняли тему дикарей, привносили важный элемент классической культуры в разговор о традиционной культуре. Мне кажется, что вся передача держалась именно на Танцующем Лисе.

«Пророчества, которые сбываются» – так она называлась – была моим первым самостоятельным произведением на телевидении, она получилась во многом неуклюжей, кособокой, зато мне удалось сказать то, что я хотел. Объединение «Республика» выпускало экономические и социальные программы, и мне слабо верилось, что индейцев пропустят на экран, но «Пророчества» пропустили. После эфира ко мне подходили коллеги и снисходительно спрашивали: «Зачем тебе эти Дакоты? Нет, что ли, посовременнее чего-нибудь?»… Разве я мог объяснить им, далёким, холодным, пустым? Зато на следующий день мне позвонил Гриша Якутовский, в то время

главный язычник Москвы, и восторженно проревел в трубку: «Ты понимаешь, что ты сделал? Ты понимаешь, о чём ты рассказал? Язычники возвращаются! Пророчества сбываются! Реинкарнация культуры!»

Потом было моё первое Пау. Мне дали командировку, но не дали камеру – смешно. Пришлось купить бытовую, и этот «Panasonic» прослужил мне верой и правдой почти пять лет. Кевин Локк, выступавший на выставке «Четыре ветра», заснят на эту камеру. И выступление ребят в Лужниках перед огромной толпой зрителей, где Танцующий Лис увлёк зрителей в индейскую пляску, – тоже мой верный «Panasonic».

Однажды мне удалось вытащить группу ребят в Москву специально на съёмку в Кратово, где находилась конюшня Саши Тереника. Там было снято несколько сюжетов, в том числе и творческий портрет Маши Большаковой. Эта конюшня превратилась в волшебные врата, которые вели в индейский мир. Вспоминается, как Лис давал мне интервью, держа на поводу красивую белую лошадь. К несчастью плёнка оказалась с браком, и пришлось вирировать ту картинку в синий цвет, пряча технические помарки. Всё очарование, весь гипнотизм изображения исчезли, но остались слова Лиса. В тот вечер многие остались отдыхать в конюшне, поставив столы под открытым небом, и лишь несколько человек (в том числе Лис и Юра Котенко), поехали в Москву. По дороге Лис сказал: «Я хочу выкурить трубку».

Когда он говорил о трубке, это всегда звучало как-то особенно, хотя он никогда не произносил слово «трубка» с каким-то нажимом, не педалировал её важность. Мы приехали к нам домой, устроились в большой комнате на полу и Лис принялся готовить табак, неторопливо скатывая его в шарики и набивая ими трубку. Он поднимал каждую щепотку табака вверх и спокойно, будто беседовал с близкими друзьями, обращался к четырём сторонам света, к небу, к земле, говоря, что в его трубке есть табак и для них. С нами, мужчинами, сидели тогда моя жена и Лена Белостоцкая. Они тоже курили. И это было серьёзно, хотя выглядело незамысловато, спокойно, без напускной серьёзности.

Мне выпала честь курить с ним трубку несколько раз – никогда на Пау, всегда это происходило в городе. Помню Мато Нажина, помню Койота, когда мы курили дома у Лиса. Опять всё выглядело просто, буднично, но вместе с дымом воздух наполнялся нашими непроизнесёнными молитвами, потому что молитвы звучали во всём, что делал Танцующий Лис.

Когда тяжело заболела моя жена, я позвонил в Питер. Вернувшись из больницу, я не знал, с кем поговорить, с кем

посоветоваться, потому что никто не мог дать совета. И рука сама набрала номер Танцующего Лиса. Он понял меня с первых слов. «Молись, – сказал без тени назидания. – Не выпрашивай ничего, а молись, разговаривая. Если не знаешь, как это делать, то возьми тексты и читай их для себя. Пусть душа придёт в равновесие». И во мне открылось что-то новое, потому что с того момента я почувствовал непосредственную связь с Богом. Лис позволил мне нащупать какую-то нить…

Трудно о нём рассказывать, потому что нелегко ухватить его образ. Танцующего Лиса было много. Его энергия казалась мне всеобъемлющей. Он проникал всюду. Индейцы были, конечно, одной из главных его составляющих, они служили ему опорой. В одном из интервью он сказал, что мир делится на белых людей и на индейцев, что среди индейцев есть люди с душой белого человека и среди белых людей есть люди с душой индейцев. Это очень важные слова, они определяли его жизненную позицию. За свою любовь к индейцам – это невинное, казалось бы, увлечение – он был отправлен в психушку (то ли пытались, то ли упекли туда ненадолго), деталей не помню. Россия почему-то боится индейцев. Наверное, своим свободолюбием и независимостью они пугают наших правителей больше, чем идея социальной революции, потому что все правители имеют душу белых людей, душу поработителей, душу насильников.

Он был первым, кто принёс на Пау индейские танцы, отыскав, наверное, где-то рисунки индейского степа. Вероятно, поначалу это выглядело жалко, но важно движение: он начал, он продолжил, и в конце концов сделал пляску важнейшей составляющей Пау, а то и главным достоинством. Без танцев невозможно представить Пау. «Через танцы мы выражаем своё уважение Великому Духу», – говорил Лис.

Он мечтал снять фильм. Первая попытка вылилась в «Дезертир». Если разбирать его с точки зрения искусства, то это слабенькая работа, в которой нет ничего ценного, кроме выражения любви к вестерну и любви к индейцам. Но с точки зрения кинопроизводства – это шедевр, ибо сделано всё на пустом месте, почти из ничего, сделано со вкусом, сделано с максимальной тщательностью. Он гордился этим фильмом, хотя «Дезертир» был далёк от совершенства. Я позволяю себе такую критику, потому что сам начинал с любительского кино и теперь, оглядываясь на сделанное, вижу все слабые стороны в профессиональном смысле. Когда я пытался объяснить Лису, что требует исправления, он не слушал, сводил всё к шутке. Так, Дима Кроу неоднократно пытался заставить Лиса доработать музыку, но Лис не хотел. А если и хотел, то он просто

отнекивался из какого-то упрямства, потому что не любил, когда ему указывают. Обладая гигантским потенциалом и необъятными талантами, он не старался сделать себя профессионалом в кино, не хотел шлифоваться. Он очень спешил и брал количеством, а не качеством. И при этом был довольно резок в суждениях.

Помню, как увидев на экране Питамакана (Игоря Сурова), разнёс в пух и прах его одежду (на мой взгляд, незаслуженно), обвинял Пита в дилетантизме (а уж в этом Игоря никак нельзя обвинять). Когда Танцующи Лис и несколько питерских ребят заночевали у нас дома, Лис с презрением спросил: «Что за пижонская квартира у тебя?» Его высокомерие неприятно задело меня, но я смолчал. Видно, Лис считал в то время, что стены непременно нужно разрисовывать собственной рукой, а не оклеивать хорошими обоями, и что обшарпанный паркет лучше, чем красивый ковёр, и что облупившиеся кособокие шкафы больше соответствуют свободолюбивому художнику, чем построенная на заказ полированная «стенка». Я не мог похвастать хорошим воспитанием, но с детства соприкасался с элегантными вещами, изящной обстановкой в домах богатых фабрикантов и ухоженная квартира была для меня нормой. Лис же вырос в советской серости и нападал на всё, что выходило за рамки этой серости, путая понятия и ориентиры. Он позволял себе язвить, не задумываясь над тем, как чувствует себя при этом объект его насмешек. Мы с женой как-то квартировали у него недельку, за день до отъезда купили собрание сочинений Стендаля. Лис посмотрел на гигантскую пачку книг и с откровенным непониманием спросил: «Зачем это вам?», и я не нашёлся, что ответить ему. Он жил в своём мире и, как всякий очень себялюбивый творческий человек, прятал свои комплексы за насмешками над тем, кто мог нарушить его систему ценностей.

А ценностей у него насчитывалось много: великолепный музыкант, замечательный художник, кинематографист, этнограф и прирождённый организатор. Его организаторские таланты невозможно объяснить. Ему удавалось всё. Он мог вытянуть из чиновников любые обещания, получить какие угодно разрешения. Мне трудно представить, чтобы кто-то ещё смог договориться о бесплатной съёмке бала в одном из дворцов Питера, пригнать туда карету, собрать народ в соответствующих костюмах, музыкантов. И всё на энтузиазме! Когда он рассказывал об этом, я не верил своим ушам. А потом увидел эту сцену. Всё оказалось правдой. Только снято было неинтересно – как сейчас свадьбы снимают или раньше средненькие советские фильмы делали. Размах, мощь, энергия, возможности – и всё словно в песок. Ему некогда было выстраивать кадр, поэтому он работал только с

широким объективом – так проще. Ему некогда было сочинять точные тексты – импровизировали на месте. Ему некогда было думать над мизансценами – будет как будет. К сожалению, он сделал гораздо меньше, чем мог бы. Всё сделанное им можно считать только черновиком.

Он не мог иначе, потому что его поджимала судьба. Он торопился сказать хотя бы как-то, и не до изящности слога ему было, потому что изящность требует времени. А времени-то ему не хватало. Он не умел передвигаться шагом, он мчался галопом. И мчался только для себя. К сожалению, другие мало интересовали его. Когда мы приехали в Каннельярве, я хотел снять для фильма «Юхаха» крохотную сцену в стойбище. С Танцующим Лисом мы обговорили всё заранее: костёр на открытом пространстве, пляска мужчин в одних набедренниках, без пан-индеанистской мишуры. Он загорелся, согласился, однако уже там, на месте, Лис даже не шевельнулся, когда я напомнил ему о съёмке. «Потом как-нибудь», – отмахнулся он. Чужие замыслы не волновали его. Даже съёмки на конюшне в Кратове шли так, словно ребята приехали поплясать в своё удовольствие, а не для моей телепередачи, хотя я из собственного кармана оплатил всем билеты. Мои никудышные организаторские способности заставляют меня завидовать неподражаемым организаторским способностям Танцующего Лиса.

В самом начале я сказал, что вся его жизнь была похожа на танец. Он всё делал легко, как бы танцуя, – кино, картины, песни. Помню, как удивился я, увидев скрипку и виолончель в его квартире, и спросил, умеет ли он играть на скрипке, Лис ответил, что немного умеет. Взял скрипку, приложил к плечу и запрыгал смычком по струнам. Чёрт возьми! В доли секунды я провалился в атмосферу задымлённого салуна – так ловко и пьяно он играл. А на лице – почти невозмутимость, словно он не исполнял музыку, а слушал её. Его пальцы скользили по струнам без напряжения, и смычок он держал как бы нехотя, с ленцой, будто не затрачивая никаких сил.

И семьи он создавал и разрушал легко, будто в этом не было ничего серьёзного. Одна женщина, другая, третья – просто и быстро. И безжалостно. Никогда я не задавал ему вопросов о его женщинах, потому что это неправильно – расспрашивать человека о его личной жизни, если он человек молчит о ней. Каждый сам выбирает, что открыть и что спрятать. Личная жизнь Танцующего Лиса осталась для меня загадкой. Любил ли он кого-нибудь? Он уходил от своих жён, но в конце концов вернулся к Лене, с которой создал свою первую семью. Лена запомнилась очень милой, молчаливой, усталой.

Лис танцевал по жизни до последних своих дней. Опухоль головного мозга – штука страшная. О его болезни я узнал, возможно, позже всех. Ему уже сделали первую операцию, когда кто-то сообщил мне об этом. В 2007 мы встретились на Пау, разговаривали в последний раз. Он до глубокой ночи сидел у костра в нашем типи и с удовольствием рассказывал о своих гастрольных поездках, о ярких впечатлениях от Европы. Говорил безостановочно, словно до того момента ему запрещалось открывать рот. На голове – синий платок, закрывавший шрам от трепанации. Лис впервые жил не в типи, а в крохотной туристической палатке. На открытии Пау он танцевал условно, лишь намечая движения, но не танцевать не мог. Сетовал на то, что врачи запрещают ему работать за компьютером, однако без работы он уставал больше, чем от работы, поэтому после Пау сел монтировать что-то потихоньку.

Осенью 2007 под Москвой проходил большой этнографический праздник Типи-Фест, участвовать в котором пригласили также индеанистов. На огромном пространстве стояли юрты, в них можно было укрыться от холодного ветра и дождя. Танцующий Лис выступал со своим ансамблем, играли кантри. А вскоре после этого он опять попал в больницу, где его стали готовить ко второй операции: опухоль разрасталась снова. Реальная жизнь смешалась в голове Лиса со снами. В разговоре с Мишей Бизоном он рассказал ему, что видел странный сон, где он спал в юрте – поездка на Типи-Фест казалась ему сном…

Танцуя, он медленно удалялся от реальности.

На операцию собирали, как говорится, всем миром. Наша семья тоже дала денег, хотя я считал, что операцию делать Диме нельзя. Мой отец прошёл через такую же болезнь, через такую же страшную опухоль, и я знал, что случается после второй операции – больной умирает. Человеку лучше уснуть, не попадая второй раз на операционный стол, ибо потом он уже не будет человеком…

В декабре сделали операцию, но Лис не вернулся к нормальному состоянию. Беспомощный, он жил, вслушиваясь в приближение смерти. Понимал ли он в те дни, что ему оставалось только ожидание?

24 февраля 2008 пришло по электронке письмо от Кроу: «Умер Лис».

В январе 2011 умер и Дима Кроу.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КОРИДОРЫ

До недавнего времени я привык думать, что моя литературная жизнь началась на стыке XX и XXI веков. Началась, разумеется, не вдруг, в юности я уже упорно тюкал на пишущей машинке, творил что-то бесформенное без начала и конца, но не думал о себе как о писателе. Один из моих друзей сказал, увидев пачку моих сочинений: «Это не литература. Это из тебя интеллигентность прёт». Возможно, так и было. Я немного рисовал, немного фотографировал, немного снимал кино – всего набиралось понемногу, а работал в конторе министерства внешней торговли. Работа была скучной, бумажной, ненавистной. Чтобы не задохнуться от монотонности конторского быта, я и окунался в сочинительство, превратив его в волшебную дверь, через которую можно было убежать в другие пространства.

Блуждая по забытым закоулкам прошлого, я внезапно наткнулся на событие, о котором давным-давно забыл.

Одна из моих сослуживиц была знакома с Анатолием Злобиным и предложила ему подшивку с моими опусами. Прочитав их, писатель решил познакомиться со мной. Ему понравилось! Он заинтересовался! Он пригласил к себе домой. Я пришёл, и мы долго разговаривали. Он восторгался моими зарисовками, которые, как мне казалось, не представляли в действительности ничего особенного. «Губы медленно раздвинулись, изо рта вывалился яркий оранжевый апельсин. За ним появился второй, третий. Они падали изо рта на стол и прыгали друг за другом, как мягкие резиновые мячики…»

– Это же настоящий сюрреализм! – восклицал Злобин. – Чудесно!

Он сделал несколько замечаний, и я до сих пор помню их – настолько они точны и просты.

– Вот вы пишете, что стрелки часов продвигали время вперёд, – говорил Злобин. – А я бы употребил «проталкивали» вместо «продвигали». Улавливаете разницу?

Он не навязывал, не принуждал, не ломал. Только предлагал. И я жадно внимал его словам.

А потом он сказал, что готовит сборник молодых авторов, посвящённый Москве.

– Напишите рассказ, наблюдение, размышление, – предложил он. – У вас интересно получится. Мы опубликуем.

Я обещал подумать, но ничего не написал и даже не пытался. В то время я мечтал снимать кино и о литературе, как о профессиональном поприще, не думал вовсе. А какой был шанс!

Какая протекция! Дверь сама распахивалась передо мной, однако я не шагнул в неё… Чуть раньше, курсе на втором или третьем, мои подружки нагадали мне, что я стану известным писателем. Почему-то я всегда помнил об этом, но никогда не принимал их предсказания всерьёз. Услышав предложение Злобина, надо было вспомнить о «предначертанном» и ухватиться за протянутую мне руку знаменитого советского писателя. Я не ухватился.

За ошибки приходится расплачиваться.

Когда я решил через несколько лет пробиться самостоятельно на страницы толстых журналов, письма с вежливыми, но категорическими отказами посыпались на меня одно за другим. Сначала я старательно собирал их, подшивал в специальную папку, а потом, увидев однажды всю нелепость моих надежд, перестал предлагать себя советской прессе и вышвырнул одним махом всю коллекцию отказов в мусор…

Грянула перестройка. Многое изменилось.

Я поступил во ВГИК, работал режиссёром на Российском телевидении и понемногу продолжал мои литературные эксперименты, особенно не мечтая о публикациях. Лишь изредка я ходил по издательствам, робко показывая мой первый роман «В поисках своего дома».

– Вы уже печатались? – слышался всюду один и тот же вопрос.

– Ещё нет.

– Извините, но мы работаем только с публиковавшимися авторами.

– Но вы хотя бы для приличия взгляните на мою книгу.

– Извините…

Многое изменилось после крушения СССР, но только не привычка редакторов давать пинка молодым авторам, только не привычка ядовито улыбаться в лицо…

И всё же в сентябре 2001 года к читателям пришли сразу три моих книги. Я принял это как должное. Не праздновал и даже особенно не радовался. Просто случилось то, что должно было случиться – меня стали печатать. О журналах и газетах я уже не думал, никуда себя не предлагал, да и предлагать-то было нечего. Рассказы я не писал, журналистикой не занимался.

В «Литературную Россию» меня занесло случайно. Собственно, шёл я не в «Литературную Россию», а в «Мир Севера». Про этот журнал я услышал от профессора Ващенко на одном из семинаров по индеанистике. Александр Владимирович Ващенко читал мою повесть «Грозовое лето» о молодой хантыйской шаманке и порекомендовал обратиться с ней в «Мир Севера». Я обратился и попал в доброжелательные редакторские объятия

Вячеслава Огрызко. Повесть ему понравилась, и «Грозовое лето» вышло в первом номере 2002 года.

Вячеслав Вячеславович обладает удивительным даром уговаривать.

– Может, напишете о Молдановой? У нас готовится книга о хантыйской литературе.

– Я не читал Молданову.

Огрызко тут же подсунул мне журнал с рассказами Татьяны Молдановой.

– И ещё я принесу вам книгу Еремея Айпина, – добавил он.

– Но я не умею…

– Всё получится, вы просто рассказывайте, понравилось вам или нет.

Он говорил и говорил, и мне почему-то показалось, что отказать я не имею права.

Разок написал для газеты, другой разок написал… Не уверен, что мои статьи заслуживают похвалы, ведь журналистика – совсем другая область. Я чувствую себя неуверенно на её территории. Что ж, каждому своё…

Одним из самых важных для меня событий 2002 года была публикация повести «Эон памяти» в «Литературной России». Её печатали с продолжениями в нескольких номерах. Это был важный опыт для меня: слишком много личного было в этой повести, слишком много моей боли, слишком много безнадёжности. Опубликовав «Эон памяти», я предоставлял читателю возможность судить не столько о моих литературных способностях, сколько о моей жизни. Я обнажился полностью.

Глядя на газету с «Эоном», я физически ощущал, как кто-то держит мою жизнь в руках, скользит по ней глазами, вчитывается в неё, ощупывает, взвешивает. И дело не только в том, что я рассказал о проблемах в моей семье, я рассказал также и о разведке, теме ещё почти закрытой. Мало кто берётся за мемуары в сорок лет.

Я представления не имел, какую значительную роль сыграет эта публикация. А ведь именно эта повесть заставила Валерия Стрелецкого посмотреть на меня новыми глазами. Сначала он видел во мне только автора «индейских» романов. «Эон памяти» открыл ему иную грань моего писательского «Я», и на следующий год Стрелецкий предложил мне написать «милицейскую» трилогию, которой мы оба имеем право гордиться.

Так что «Литературная Россия» послужила фундаментом для моего профессионального роста.

Альманах «Литературная Россия» напечатал мои повести «Стирка грязного белья», «Голос бездны», «Из рода оленей». В

газете появлялись рассказы и статьи. Вышли книги «Мансийская литература», «Ненецкая литература», «Нанайская литература», где были мои материалы. Я настолько привык публиковаться, что перестал воспринимать это как что-то важное, существенное. Захотелось высказаться – пожалуйста. Захотелось «обкатать» какую-то мыслишку – пожалуйста.

Помню, однажды поднялся большой шум из-за моей статьи о проституции. Мне казалось, что ничего особенного я не написал, просто немного порассуждал на тему сексуальных услуг. В ответ на меня обрушился злобный шквал: и сумасшедшим новым русским называли меня, и сексуальным маньяком, и даже антихристом. Полезный опыт для писателя.

«Литературная Россия» не отказывала мне ни в чём, предоставляла мне поле для экспериментов. И за это я глубоко благодарен Вячеславу Огрызко. С его лёгкой руки я познакомился с множеством чудесных писателей, о которых не слышал прежде, и проник в мир литературы «малых народов». Именно представители Севера отворили мне врата в страну Традиции. Этнографией я занимался давно, но соприкосновение с Айпиным, Молдановой, Ледковым, Куриловым и многими другими мастерами слова помогло мне окунуться в мир Севера с новой стороны: научность отступила, освободив пространство поэтичности. Охотники и оленеводы подступили ко мне вплотную и требовали от меня литературного проявления моей к ним любви. В результате появилась книга «Время крови».

Благодаря «Литературной России» я встретил Сергея Николаевича Владимирского, удивительного человека, обладавшего необъятными талантами. Поводом для знакомства послужил «Эон памяти», ибо повесть вошла в сборник «Родительский дом», на презентации которого выступал ансамбль «Гренада» и несколько человек из «Гренадиты», младшего состава этого коллектива. Руководил ансамблем Сергей Владимирский. Молодёжное окружение Сергея Николаевича показалось мне сказочно-счастливым; давно не видел я стольких сияющих глаз, стольких улыбок. Несколько лет я наслаждался возможностью наблюдать этот очаровательный коллектив изнутри и готов утверждать, что проведённое с «Гренадитой» время действовало на меня как живительный эликсир. Много раз я думал о том, что надо бы написать статью о «Гренадите» в «Литературную Россию», но так и не собрался с мыслями.

Повторяю: я не обладаю талантом журналиста говорить обо всём, что вижу на пути. Мне нужен повод для разговора, а лучше – вопрос, на который я буду отвечать. Отсутствие журналистской жилки не позволяет мне браться за многие статьи. Газета и

журнал – это особое пространство, с ним нужно сжиться, чтобы чувствовать себя там естественно. Я не пригоден для работы в газете, у меня есть своя система координат, которая называется словом «книги». И всё же время от времени мне почему-то хочется появиться на страницах «Литературной России», где моё существование всегда было лёгким и свободным.

Не раз спрашивал я себя, как бы сложилась моя судьба, согласись я в далёкие восьмидесятые на предложение Злобина участвовать в том сборнике рассказов о Москве. Начал бы публиковаться. Но разве мне было что сказать? Разве написал бы я «Тропу», которая провела меня через один из самых тяжёлых периодов моей жизни? Разве создал бы я «Коридоры событий»? Разве хоть что-нибудь похожее на «Эон памяти» вышло бы из-под моего пера? Нет. Жизнь устроила всё наилучшим образом, дала возможность опробовать свои силы, отшлифовать своё умение, осознать свои желания. Всё на этом пути имело значение, всё стояло на своём, только ему предназначенном месте, как и «Литературная Россия». В другую газету судьба не могла привести меня.